

Вестник НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ Московского Основан в ноябре 1946 г. университета

Серия 25 **МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА**
ТОМ 11 • № 2 • 2019 • АПРЕЛЬ–ИЮНЬ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК В НОВЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От редакции</i>	3
<i>Вступительное слово академика В.В. Наумкина</i>	5
Кузнецов В.А. От Океана до Залива: идентичность одного региона в условиях неомодерна	9
Сарабьев А.В. Ближневосточная «шиитская дуга»: реальная угроза или геополитическая химера?	39
Шлыков П.В. Трансформация региональной политики Турции в условиях конкурентной полицентричности на Ближнем Востоке (2000–2010-е годы)	65
Жигульская Д.В. Пределы применимости «турецкой модели» в государствах Ближнего Востока после «Арабского пробуждения»: пример Египта	107
Демченко А.В. Логика развития и перспективы преодоления кризиса беженцев в Иордании	128
Василенко А.И. Долгое эхо конфликта: память о «черном десятилетии» 1990-х годов в современной политической культуре Алжира	171

Moscow University

Bulletin of World Politics

ISSN 2076-7404

Vol. 11 • No. 2 • SPRING • 2019

THE MIDDLE EAST IN THE NEW HISTORICAL REALITIES

CONTENTS

<i>Editorial Note</i>	3
<i>An Introductory Message by V.V. Naumkin</i>	5
Kuznetsov V.A. From the Ocean to the Gulf: One Region's Identity in the Context of Neomodernity	9
Sarabiev A.V. The Middle East Shiite Arc: A Real Threat or Geopolitical Chimera?	39
Shlykov P.V. Competitive Multipolarity in the Middle East and the Transformation of Turkey's Regional Policies in the 2000s and 2010s	65
Zhigul'skaya D.V. Limits of the Turkish Model Applicability in the Middle East Countries after the Arab Awakening: The Case of Egypt	107
Demchenko A.V. Refugee Crisis in Jordan: The Logic of Development and Possible Solutions	128
Vasilenko A.I. The Long Echo of Conflict: The Memory of 1990s Black Decade in the Modern Political Culture of Algeria	171

ОТ РЕДАКЦИИ

Дорогой читатель!

Вашему вниманию предлагается необычный выпуск нашего журнала. Данный номер примечателен сразу в нескольких отношениях. С одной стороны, он продолжает традицию подготовки специальных тематических выпусков, которые призваны представить читателю по-настоящему комплексный и разносторонний анализ наиболее актуальных проблем современной мировой политики. С другой стороны, этот номер служит прекрасным примером реализации на практике одной из ключевых стратегических установок редакционной политики, которая заключается в том, чтобы превратить журнал в площадку для открытого и профессионального диалога между отечественными учеными-международниками из МГУ и других ведущих центров международно-политической науки. С этой точки зрения специальные выпуски, целиком посвященные рассмотрению определенной темы, представляются особенно удачным решением, поскольку позволяют познакомить читателя с работой целого коллектива ученых, могут выступить в качестве своеобразного манифеста формирующейся или уже сложившейся школы.

Именно труды представителей такой школы, сформировавшейся на базе Института востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), представлены в настоящем выпуске. С самого момента основания факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова между ним и Институтom востоковедения установилось прочное и плодотворное рабочее взаимодействие. Так, во главе одной из базовых кафедр ФМП встал академик **В.В. Наумкин**, директор, а позднее научный руководитель ИВ РАН. В последующие годы это взаимодействие только окрепло, в том числе благодаря проведению целого ряда крупных совместных научных мероприятий. Среди них можно отметить международную научную конференцию «Содействие устойчивому развитию в неустойчивом мире» (Empowering Sustainability in a Fragile World), организованную на базе ФМП в 2017 г. совместно с Калифорнийским университетом (Ирвайн, США), Российским советом по международным делам и при финансовой

поддержке Российского научного фонда (проект № 15-18-30066, руководитель — академик РАН **А.А. Кокошин**). Со стороны факультета инициатором и организатором данного мероприятия стал Центр проблем безопасности и развития (ЦПБР) под руководством доцента кафедры международных организаций и мировых политических процессов ФМП МГУ **В.И. Бартенева**. В 2018 г. сотрудники ЦПБР приняли участие в проведении серии юбилейных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня основания ИВ РАН.

Это сотрудничество продолжилось в рамках реализации научного проекта «Дилеммы содействия укреплению государственности в странах Ближнего Востока и Северной Африки в условиях формирования новых угроз миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности», поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (проект № 17-37-01018-ОГН). Данный проект объединил экспертов ЦПБР ФМП и Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН (руководитель — доцент кафедры региональных проблем ФМП МГУ **В.А. Кузнецов**).

Хочется надеяться, что данный выпуск нашего журнала станет еще одним важным шагом в этом направлении. Здесь не представляется целесообразным подробно останавливаться на содержании каждой отдельной статьи, включенной в номер, мы приглашаем читателей лично познакомиться с результатами научного поиска их авторов. От лица редакции хотелось бы отметить лишь одно обстоятельство. В номере собраны очень непохожие материалы: они отличаются не только широким тематическим охватом, затрагивая самые различные аспекты сложных и болезненных трансформационных процессов, развернувшихся в последние годы на пространстве Ближнего Востока, но и разнообразием теоретических подходов, аналитических призм, применяемых авторами. В то же время представленные в выпуске статьи характеризуются фундаментальным концептуальным единством, в основе которого лежит стремление к беспристрастному, объективному анализу самых сложных и деликатных проблем современных международных отношений. Это обстоятельство говорит о зрелости и состоятельности авторского коллектива как настоящей научной школы, продолжающей лучшие традиции отечественного востоковедения.

Приятного прочтения и до скорых встреч!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО АКАДЕМИКА В.В. НАУМКИНА

Этот номер журнала «Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика» неслучайно целиком посвящен тематике Ближнего Востока — региона, который в последние годы привлекает возрастающее внимание исследователей и аналитиков ввиду своей важной роли в мировой экономике и политике, а также переживаемых им потрясений, оказывающих большое влияние на всю систему международных отношений в мире. Об идущей в регионе глубокой общественно-политической трансформации, кровопролитных конфликтах с участием внешних акторов, хаотизации и эрозии складывавшегося здесь десятилетиями регионального порядка, религиозном экстремизме и терроризме, кризисе государственности российскими и зарубежными авторами написано немало научных трудов, и наверняка их будет еще больше. При всех различиях во взглядах ученых на процессы, происходящие в регионе, их объединяют общее чувство тревоги по поводу судьбы живущих здесь народов и ощущение того, что будущее развитие ближневосточных государств, сталкивающихся сегодня с огромным числом рисков и вызовов, может быть не менее неожиданным и непредсказуемым, чем оно было в последнее десятилетие.

Авторы публикуемых в этом номере статей, лишенные футурологических амбиций, не ставят задачу предсказать будущую траекторию развития Ближневосточного региона, но рассчитывают внести свой вклад в осмысление происходящих в нем процессов, обращаясь к весьма важным их аспектам. Пятеро из шести авторов статей входят в научный коллектив, который в течение 2016–2019 гг. работал над проектом РНФ «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз». На первом этапе этой работы исследование, результаты которого изложены в монографии «Ближний Восток в меняющемся гло-

бальном контексте»¹, было проведено на стыке исторического и политологического подходов с учетом крайне противоречивого взаимодействия тенденций, развивающихся на глобальном уровне и в региональном контексте. Поскольку идущие в регионе бурные пертурбации рассматривались исследователями как катарсис всего предыдущего многовекового развития, в той первой монографии во всех ее главах так или иначе прослеживалась реминисценция столетней эпохи. С ее помощью было показано, как перипетии нынешнего этапа кажущейся хаотичной трансформации региона рождались на фундаменте давних реалий.

Во второй монографии коллектива авторов под названием «Ближний Восток в поисках политического будущего», которая скоро должна увидеть свет, наряду с выработкой новых общетеоретических обобщений, органично вытекающих из положений первого труда, акцент сделан на страновом аспекте идущих в регионе процессов. Главы монографии объединены в четыре раздела: «Ближневосточная мозаика: ценностное изменение», «Политические системы: общие характеристики и страновые особенности», «Общество и государство: вызовы современного развития» и «Современность, опрокинутая в историю».

Продолжая исследование, по сути, тех же проблем, что были рассмотрены в первой монографии, но преимущественно в страновом ракурсе, авторы не ставили перед собой задачу разобраться в опыте всех или даже большинства государств Ближнего Востока. Это было бы для них непосильной задачей, прежде всего в силу неохватности материала. Тот факт, что за рамками коллективного труда фактически остались столь крупные региональные государства, как Сирия, Алжир и отчасти Египет (в какой-то мере этот недостаток компенсирует включенная в этот номер статья А.И. Василенко, посвященная Алжиру), ни в коей мере не означает непризнания значимости этих акторов в трансформационных процессах, происходящих на Ближнем Востоке. Напротив, с учетом слишком пестрого калейдоскопа быстро развивающихся событий в этих странах и на фоне обилия поспешных попыток концептуализации со стороны многих аналитиков и ученых авторы сочли необходимым глубже и детальнее разобраться в этих изменениях, для чего требуется время, и представить свои констатации и заключения в следу-

¹ Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин. М.: ИВ РАН, 2018.

ющей монографии, к работе над которой они рассчитывают в ближайшем будущем приступить.

Понятие идентичности неслучайно вынесено в заголовок одной из статей и так или иначе присутствует в других: оно сегодня лежит в основе целого ряда концепций и теоретических построений, с помощью которых исследователи Ближнего Востока стремятся объяснить набирающие силу процессы в регионе. Достаточно привести в пример недавно опубликованную в русском переводе книгу Фрэнсиса Фукуямы «Идентичность. Стремление к признанию и политика неприятия». Некоторые ее положения, касающиеся Ближнего Востока, в том числе результатов американской «сменорежимной» стратегии силового насаждения демократии или истоков экстремизма, перекликаются с оценками авторов статей сборника. В своей работе американский профессор, в частности, пишет: «“Арабская весна” 2011 г., разрушив диктатуры на Ближнем Востоке, вдребезги разбила надежды на торжество демократии в этом регионе, когда Ливия, Йемен, Ирак и Сирия погрязли в гражданских войнах. Американское вторжение в Афганистан и Ирак не остановило волну терроризма, воплотившуюся в терактах 11 сентября. Скорее она мутировала в “Исламское государство”... [запрещено в России. — *В.Н.*]»².

Нельзя не отметить, что авторы публикуемых статей коснулись в них некоторых важных аспектов реструктуризации политического пространства Ближнего Востока, в том числе связанных с кризисом беженцев, влиянием «конкурентной полицентричности» или обострением шиитско-суннитского соперничества.

Уместно напомнить в этой связи, что ряд участников упомянутого проекта РНФ в концентрированной форме высказали свои точки зрения по проблемам Ближнего Востока в специально посвященном этому региону докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай», увидевшем свет в мае 2018 г. Исследователи утверждали, что «нынешняя роль региона продиктована сложным и болезненным периодом складывания нового мирового порядка, преодоления асимметрии, создающей крайне неустойчивый баланс сил в мире»³.

²Цит. по статье, представляющей собой отрывок из книги: Фукуяма Ф. Политика достоинства и судьба либерального порядка // Россия в глобальной политике. 2019. № 4. С. 43.

³Звягельская И., Кузнецов В., Наумкин В. Россия на Ближнем Востоке. Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М., 2018. С. 3.

Можно надеяться, что публикация настоящего тематического номера, посвященного ближневосточным политическим реалиям, частично удовлетворит растущий интерес к этому региону, а его материалы смогут быть использованы в учебном процессе на факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова.

Научный руководитель
Института востоковедения Российской академии наук,
заведующий кафедрой региональных проблем
факультета мировой политики
МГУ имени М.В. Ломоносова,
академик РАН, профессор, д.и.н.
В.В. Наумкин

В.А. Кузнецов*

**ОТ ОКЕАНА ДО ЗАЛИВА:
ИДЕНТИЧНОСТЬ ОДНОГО РЕГИОНА
В УСЛОВИЯХ НЕОМОДЕРНА****

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт востоковедения Российской академии наук»
107031, Москва, ул. Рождественка, 12*

Статья посвящена исследованию специфики международных отношений в Западной Азии и Северной Африке (ЗАСА) в контексте перестроения современной системы мировой политики. Автор предлагает рассматривать проблему складывания нового миропорядка через призму развернувшихся в настоящий момент процессов фундаментальной трансформации общественной жизни, которые могут быть описаны как переход от состояния постмодерна к неомодерну. На основе анализа теоретических работ по постпостмодернизму был рассмотрен феномен неомодерна, выделены его ключевые черты. Подобный подход позволяет по-новому взглянуть на содержание и возможный будущий облик формирующегося нового мирового порядка. Его отличительными чертами, по мнению автора, станут подвижность, гибкость, неустойчивость, из которых будут происходить и множественность коллективных идентичностей, и множественность внешнеполитических нарративов, усиление роли идеологических факторов, нарастание секьюритизации международных отношений. Автор констатирует, что пространство ЗАСА уже оказалось охвачено данной глобальной трансформацией, и рассмотрение региональных процессов через призму концепции «неомодерна» позволяет выявить сосуществование там двух способов политической самоидентификации и соответственно двух вариантов выстраивания региональной системы отношений. В одном варианте ЗАСА понимается по-модернистски как Ближний Восток, во втором — в домодерном духе — как часть исламского мира. Природа акторов, роль политических нарративов, отношение к границам и

* Кузнецов Василий Александрович — кандидат исторических наук, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: vasiakuznets@yandex.ru).

** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01614 «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз».

суверенитету, само восприятие принципов миропорядка становятся теми сферами, в которых ближневосточный концепт международных отношений принципиально противоречит исламскому. И если первый в пространстве ЗАСА проходит испытание постмодернистским релятивизмом, а отдельные его элементы размываются, то второй, напротив, вновь становится актуальным. При этом, как подчеркивает автор, в рамках неомодерна оба концепта получают возможность параллельной реализации, обуславливая неоднозначность, амбивалентность картины региональной подсистемы международных отношений, которая и станет важнейшей чертой нового века.

Ключевые слова: Западная Азия и Северная Африка, ЗАСА, неомодерн, Ближний Восток, исламский мир, постмодернизм, домодерн, мировой порядок.

Настоящая статья посвящена изучению специфики формирования международных отношений в условиях трансформации мировой политики в географическом пространстве¹, ограниченном Атлантическим океаном на западе и Персидским заливом на востоке и традиционно обозначаемом в арабской историографии как земли «от Океана до Залива». В последнее время в западной и отечественной литературе это пространство все чаще описывается как Западная Азия и Северная Африка (ЗАСА)². Цель статьи состоит в определении возможных стратегий трансформации

¹ Мы используем понятие «пространство» (а не «регион» или «территория») преднамеренно, разделяя точку зрения отечественного специалиста Н.А. Косолапова о том, что «организованная территория становится пространством», т.е. «виртуальной конструкцией, создаваемой <...> ради организации представлений, на основе и при помощи которых могут выстраиваться и воспроизводиться социальная практика и/или ее часть» [Косолапов, 2005: 3]. Имея внутреннюю структуру, осознаваемую как определенное единство (в отличие от территории), пространство вместе с тем может не обладать политической субъектностью международно-политического региона. Под последним при этом понимается «относительно самостоятельная подсистема межгосударственных отношений, объединенных прежде всего общностью определенных, присущих именно данному региону политических проблем и соответствующих им отношений» [Гантман и др., 1984: 363; Воскресенский, 2012].

² Географически речь идет о той же территории, которая обычно обозначается как Ближний Восток и Северная Африка (БВСА), или просто Ближний Восток (БВ). В настоящей статье, как будет показано далее, под БВ понимается определенная концепция. Понятия «от Океана до Залива» и ЗАСА используются нами как более нейтральные. Подобная идея в отечественной литературе уже выдвигалась (см., например: [Махмутов, Мамедов, 2017]).

региональной идентичности в ЗАСА в новых мирополитических условиях.

Для ближневосточных исследований эта проблематика, конечно, не нова: теме выстраивания международных отношений в ЗАСА, роли Ближнего Востока в современной системе мировой политики посвящен огромный корпус литературы. Однако в основной ее части исследовательское внимание сосредоточивается на анализе актуальных региональных проблем международных отношений, а задача последовательного их вписания в глобальные мирополитические трансформационные процессы, как правило, даже не ставится. К этой проблематике отчасти приближается корпус исследований, авторы которых рассматривают региональные отношения в ЗАСА с учетом колоссальной роли внерегиональных игроков и через призму их внешнеполитических стратегий (в первую очередь это относится к России и Соединенным Штатам, взаимоотношения которых в ЗАСА в последние годы стали едва ли не самостоятельным направлением научных изысканий [яркие примеры: Васильев, 2018; Шумилин, 2015]). Вместе с тем в этих работах само пространство ЗАСА и расположенные там страны оказываются скорее объектами действия внешних сил, чем субъектами мировой политики.

В России лишь в последние годы наметилась тенденция к сближению собственно ближневосточных исследований с изучением более общих трендов мировой политики. Среди работ, посвященных этой проблематике, особого внимания заслуживают публикации В.В. Наумкина, И.Д. Звягельской, К.М. Труевцева, принадлежащих в целом к той же школе ближневосточных исследований, что и автор настоящей статьи. Все эти авторы, специализируясь изначально на ближневосточной проблематике, пытаются концептуализировать анализ региональных процессов, связав их с более общими проблемами мировой политики. Так или иначе, собственно ближневосточная повестка остается для них ключевой.

Так, в статье «После постмодерна: ближневосточное измерение одного тренда» [Кузнецов, 2017] мы уже намечали общие контуры исследования взаимосвязей между изменением ситуации на Ближнем Востоке и глобальной мирополитической трансформацией, обозначенной нами как завершение эпохи постмодерна. Эти идеи нашли развитие в опубликованной в соавторстве с И.Д. Звягельской статье «Государственность на Ближнем Востоке. Будущее началось вчера» [Звягельская, Кузнецов, 2017].

Продолжая разработку темы, И.Д. Звягельская в своей недавно опубликованной монографии «Ближний Восток и Центральная Азия: глобальные тренды в региональном исполнении» сравнивала эффекты от влияния глобальных тенденций развития на политические процессы в двух регионах [Звягельская, 2018]. Академики В.В. Наумкин и В.Г. Барановский, написавшие вводную главу к коллективной монографии «Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте», со своей стороны сосредоточили внимание как на специфическом преломлении глобальных мегатрендов на Ближнем Востоке, так и на формировании особых региональных трендов, определявших в значительной степени внутрорегиональную международную среду [Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018]. В 2019 г. должно выйти продолжение этой работы, основанное на анализе конкретных страновых кейсов. Наконец, необходимо упомянуть и статью «Western Asia and North Africa in the neo-modernity context: Between the Middle East and the Islamic World», опубликованную в журнале «Russia in Global Affairs» [Kuznetsov, 2019]: высказанные в ней идеи легли в основу настоящего текста.

Другой подход можно обнаружить у авторов-международников, обращающихся к проблемам ЗАСА как к частному примеру в рамках исследований общих проблем истории международных отношений. Довольно распространенным стал поиск аналогий для текущей ситуации в регионе во всемирной (а на самом деле — лишь в европейской) истории. С. Сазак [Sazak, 2016] и Л. Камель [Kamel, 2019], с одной стороны, и Б. Симмс с коллегами³ — с другой спорят о возможностях установления «ближневосточного Вестфалья» после окончания «новой Тридцатилетней войны». В этой же логике еще раньше строил свои рассуждения российский посол П. Стегний, противопоставлявший вестфальскому формату на Ближнем Востоке версальский⁴, что наводило на мысль о сравнении текущей ситуации не с Тридцатилетней, а с Первой мировой войной. Авторы более прикладных работ обращаются к опыту Хельсинки, Рабочей группы по контролю над вооружениями и региональной безопасности на Ближнем Востоке, созданной на московской площадке многостороннего

³ Simms B., Axworthy M., Milton P. Ending the new Thirty Years War // NewStatesman. 2016. Available at: <http://www.newstatesman.com/politics/uk/2016/01/ending-new-thirty-years-war> (accessed: 01.02.2019).

⁴ Стегний П.В. Ближний Восток: по-версальски или по-вестфальски? // Россия в глобальной политике. 2012. № 6. Доступ: <https://globalaffairs.ru/number/Blizhnii-Vostok-po-versalski-ili-po-vestfalski-15785> (дата обращения: 15.02.2019).

ближневосточного урегулирования в 1992 г. [Махмутов, Мамедов, 2017], АСЕАН [Mahbubani, 2017] или Африканского союза [Harrison, 2016].

Довольно любопытной в контексте этих исследований представляется полемика, развернувшаяся весной 2019 г. вокруг учебника А.В. Фененко «История международных отношений: 1648–1945» [Фененко, 2018], когда в ответ на довольно жесткую рецензию А. Куприянова «История МО: попытка описания»⁵ коллеги А.В. Фененко В.А. Веселов и Т. Алексеева опубликовали две контррецензии⁶.

ЗАСА упоминается в этих трех текстах лишь по касательной, однако центральный вопрос дискуссии вполне актуален и для всех упомянутых ранее исследований: до какой степени европейский опыт истории международных отношений, прежде всего в домодерную эпоху, универсален и может быть применен к иным регионам? И соответственно: надо ли относиться к формулам ближневосточных тридцатилетних войн, вестфалей, версалей, хельсинки и т.д. именно как к тем или иным образом реализуемым политическим моделям или же как к метафорам?

Вместе с тем последовательный отход от европоцентризма, абсолютизация изначальной особенности каждой культурно-цивилизационной общности (как их ни определяй) и присущих ей подходов к выстраиванию международных отношений могут вести к обратной стороне европоцентризма — ориентализму. В рамках мирополитических исследований это, конечно, не означает неправомерности изучения альтернативных моделей понимания мировой политики, однако заставляет относиться к ним с чрезвычайной осторожностью. Среди, безусловно, удачных работ, выполненных в этом направлении, стоит упомянуть ряд публикаций, посвященных проблемам субъектности исламского мира: монографию С. Айдына «The idea of the Muslim world. A global intellectual history» [Aydin, 2017], статьи российских ис-

⁵ Куприянов А. История МО: попытка описания // РСМД. 17.05.2019. Доступ: <https://globalaffairs.ru/number/Istoriya-MO-popytka-opisaniya-20045> (дата обращения: 16.06.2019).

⁶ Веселов В.А. Как анализировать историю международных отношений? // Россия в глобальной политике. 22.05.2019. Доступ: https://globalaffairs.ru/global-processes/Kak-analizirovat-istoriyu-mezhdunarodnykh-otnoshenii-20050?fbclid=IwAR1j90IUZYsesJoY-KleulBNkdJFV4RYfjcnc_4n6cxSDLird0WvxQaYkAx4 (дата обращения: 16.06.2019); Алексеева Т. Как примирить историков и политологов? // РСМД. 31.05.2019. Доступ: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-primirir-istorikov-i-politologov/?fbclid=IwAR3TzGV7ta3VJX4zqxHhg5loQ3tViuOSULQ6tICHw8jKdwTArVRYfGNtTME> (дата обращения: 16.06.2019).

следователей В.В. Наумкина [Наумкин, 2008], В.Г. Барановского [Барановский, 2017], Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамовой [Фитуни, Абрамова, 2018].

В соответствующих разделах статьи мы будем возвращаться к идеям, высказывавшимся в упомянутых публикациях, однако прежде имеет смысл сформулировать ключевые тезисы, раскрытию которых и будут посвящены эти разделы.

1. Новый мировой порядок, дискуссии о котором обрели особую популярность в последние несколько лет, представляет собой международно-политическую проекцию того, что в других сферах общественной жизни и общественного сознания может быть названо «состоянием неомодерна» или схожими терминами.

2. Само понятие «Ближний Восток» (БВ) должно рассматриваться как маркер определенной парадигмы, созданной в эпоху модерна. Его изначальная идеологическая наполненность меняла международным акторам определенный тип политического поведения и предписывала выстраивание специфической системы региональных отношений и специфическую региональную идентичность.

3. Альтернативой концепции «Ближнего Востока» может считаться концепция «исламского мира», содержащая в себе домодерное идеологическое наполнение.

4. В эпоху постмодерна началось размывание БВ и реактуализировалась идея исламского мира.

5. В эпоху неомодерна международные отношения на пространстве ЗАСА будут колебаться между моделями БВ и исламского мира.

Неомодерн вместо нового мирового порядка

Несмотря на то что в науке о международных отношениях до сих пор еще продолжают ожесточенные споры относительно наполнения и границ понятий «мировой порядок» («миропорядок») и «система международных отношений» [Дунаев, 2013], общий смысл словосочетания «мировой порядок» более или менее ясен. В дальнейшем мы будем опираться на его определение, предложенное отечественным специалистом А.И. Никитиным: «...относительно устойчивое и достаточно стабильное, хотя и ограниченное в историческом времени состояние международной системы, характеризующееся господством признаваемых большинством акторов (государственных и негосударственных)

правил поведения на международной арене и основанное на балансе сил и интересов ведущих мировых держав и политических сил» [Никитин, 2018: 32].

Тезисы о кризисе миропорядка, его «критической неустойчивости», «снижающейся эффективности функционирования международных институтов» и «падении доверия к ним» [Лапкин, 2018: 37; см. также: Naas, 2014; Алексеенкова, 2015], ставшие в последние годы совершенно обыденными, начали входить в оборот международных исследований еще в начале 1990-х годов — в сущности, сразу после краха биполярной системы отношений. Никогда толком не кончавшиеся на протяжении более двух десятилетий дискуссии вспыхнули с новой силой после украинских событий 2014 г., обозначивших, с преобладающей в России точки зрения, коренной поворот в отношениях Москвы и стран Запада. Проявившееся в это время настойчивое стремление российских политического и академического сообществ заявить о становлении нового миропорядка естественным образом поставило вопрос о периодизации.

Либо в 2014 г. мир вошел в какой-то совершенно новый период развития, и тогда речь должна идти о существовании некоего специфического (видимо, однополярного) миропорядка ранее (1991–2014), либо же нет — и тогда нынешняя ситуация должна рассматриваться как новая фаза процессов, запущенных в 1990-е годы⁷. При том что у обеих точек зрения есть солидный набор сторонников и противников, споры между ними носят далеко не только академический характер. В сущности, речь идет о противостоянии двух (а в реальности — множества) принципиально разных политических концепций, каждая из которых призвана подвести интеллектуальную основу под внешнеполитические стратегии тех или иных игроков. Распространенный в России подход, в котором катастрофическое восприятие актуального положения дел [Барабанов и др., 2018] соседствует с заботой о построении нового мультиполярного (или полицентричного) мира [Барановский, 2017: 75], в этом контексте оказывается лишь одной из возможных политических программ, но далеко не единственной.

⁷ А.И. Никитин и В.Г. Барановский выступают сторонниками второго подхода [Никитин, 2018: 33; Барановский, 2017: 72], В. Лапкин, Р. Хаас, Дж. Най [Лапкин, 2018: 38; Naas, 2008; Nye, 2015] и многие другие авторы — первого.

В означенной логике сама констатация кризиса может рассматриваться не как результат отстраненного анализа условно объективной реальности, но как выражение изменившегося самовосприятия акторов-наблюдателей. Москва, Пекин, Тегеран и другие говорят о кризисе, поскольку стремятся к пересмотру собственной роли в мировой политике и этим своим стремлением, с точки зрения апологетов status quo, этот кризис и создают⁸.

Вместе с тем подобный конструктивистский подход нельзя абсолютизировать. При всей значимости субъективных факторов разлад миропорядка связан, очевидно, и с некоторыми объективными элементами реальности: экономическим ростом в странах Азии, формированием нового технологического уклада, кризисом созданной в лоне европейской политической культуры модели национального государства и т.д. Соответственно и преодоление текущего кризиса, по всей видимости, должно стать, с одной стороны, компромиссом между несколькими мирополитическими проектами, а с другой — результатом приспособления международно-политической реальности к новым социально-экономическим и технологическим условиям.

Ситуацию при этом осложняет то, что сам окончательный состав ключевых игроков, которые будут участвовать в написании «правил игры», не определен и, вполне возможно, определен не будет. Кроме того, далеко не все из уже заявивших о себе «архитекторов» нового миропорядка готовы сформулировать собственные концепции его обустройства. Наконец, технологический переход еще не завершен, и его глобальные социально-экономические последствия не проявились в полной мере.

Всё это порождает неуверенность не только в общих контурах будущего миропорядка, но и в самой возможности его формирования. Конгломеративные теории современного мира, описанные А.Д. Богатуровым [Богатуров, 2018], напротив, получают дополнительные аргументы в свою пользу.

Ключевая проблема состоит в конечном счете в том, что любой автор, пытаясь описать контуры нового миропорядка, вынуж-

⁸См. об этом размышления А. Цыганкова и А. Сушенцова: Цыганков А. Эпоха полураспада: от миропорядка к миропереходу // Россия в глобальной политике. 15.05.2019. Доступ: <https://globalaffairs.ru/number/Epokha-poluraspada-ot-miroporyadka-k-miroperekhodu-20029> (дата обращения: 14.06.2019); Сушенцов А. Россия — глобальный ревизионист? // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 12.06.2019. Доступ: <http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-globalnyy-revizionist/> (дата обращения: 14.06.2019).

ден не только исходить из уверенности, что он возможен, но и опираться на уже известные в истории модели его организации, причем концептуализированные на основе освоения прежде всего европейского опыта (вспомним дискуссию вокруг учебника А.В. Фененко). В этом причина очевидной вторичности всех построений, не учитывающих принципиальную непохожесть новых исторических условий.

Впрочем, на эту проблему можно посмотреть и иначе — не через призму науки о международных отношениях, а в более широкой перспективе.

Если рассматривать международные отношения как одну из сфер общественной жизни, формируемую общественным сознанием, то вполне правомочно будет соотнести дискуссии о миропорядке с рефлексией над другими сферами общественного развития.

Параллельно с размышлениями о кардинальных изменениях в мировой политике, хотя и с некоторым опережением, образ мира после «конца истории» активно разрабатывается и в других гуманитарных науках.

Больше 20 лет назад Ж. Бодрийяр заявил: «Года 2000 не будет. Он не произойдет просто потому, что история столетия уже закончилась, и мы лишь постоянно переживаем ее» [Бодрийяр, 1998]. Говоря о размывании границы между настоящим и будущим, фактическом упразднении и того, и другого, замене их симулякрами-«кажимостями», философ постулировал становление эпохи «постсовременности» (или постмодерности), органически не способной сказать о себе что-то новое и требующей вечного возвращения. Эти размышления конца XX в., однако, обозначили не открытие эпохи постмодерна, подступавшей с разных сторон уже пару десятилетий⁹, а скорее ее вхождение в завершающую стадию, когда постмодерн сначала из состояния ума интеллектуалов, а затем и из состояния культуры превратился в общественно-политическую обыденность, зачастую даже неосознаваемый способ мышления общества, предписывающий определенное политическое поведение.

XXI век принес с собой новую волну размышлений о мире «послемодерна». Уже в 2002 г. канадская исследовательница

⁹Текст «Cross the Border — Close the Gap» Лесли Фидлера появился впервые еще в 1968 г. (опубликован в 1969 г.), а «Состояние постмодерна» Ж.-Ф. Лиотара — в 1979 г.

Л. Хатчеон объявила о конце постмодерна: «Постмодернистский момент миновал, даже если его дискурсивные стратегии и идеологическая критика еще живы» [Hutcheon, 2002: 181]. Вслед за этим критическая теория, искусствознание и литературная критика наполнились многочисленными модернизмами с приставками: постпостмодернизм, automodernism [Samuels, 2008], digimodernism [Kirby, 2009], altermodernism [Bourriaud, 2009], трансмодернизм [Dussel, 2012], метамодернизм [Vermeulen, Van der Akker, 2010] и т.д. Концепция неомодерна, к которой мы апеллируем в настоящей статье, стоит с ними в одном ряду.

Различаясь в деталях, акцентируя внимание на разных аспектах современности, все эти теории оказываются едины в нескольких вещах.

Из самих их названий видно, что авторы описывают современность по отношению к эпохе модерна, превращаясь, так или иначе, в пленников истории, добровольно отказывающихся от свободы определения принципиально нового состояния бытия. Современность всегда мыслится ими одновременно как преодоление постмодерна и как его развитие. Будучи порожденными сознанием постмодерна, эти теории осмысляют мир после конца истории, предполагая тем самым отказ от ее телеологической заданности и, следовательно, невозможность полного возвращения на круги модерна¹⁰. При этом все подобные размышления исполнены серьезности и стремления к поиску новых смыслов, некоторым даже раздражением от вездесущей постмодернистской иронии, делающей невозможными ответы на новые вызовы бытия. Эта серьезность порождена осознанием принципиально нового экономического, технологического и информационного состояния современного мира. Глобализация для этих авторов — уже не абстрактный проект, а свершившийся факт. Отсюда — отказ от европоцентризма, новое пространственное восприятие, идея «культурных кочевников» Н. Буррио [Bourriaud, 2009], цивилизационный и культурный плюрализм, свойственный трансмодернизму, что, между прочим, в конечном счете должно вести и к позитивному отношению к концепции «множественности модерна» Ш. Эйзенштадта [Eisenstadt, 2000].

Концепция неомодерна, в отличие от других, в большей мере ориентированная на анализ политического, нежели эсте-

¹⁰ Наиболее четко это выражено в теории метамодерна [Vermeulen, Van der Akker, 2010: 5].

тического, акцентирует внимание на четырех принципиальных моментах, уже ярко проявившихся в политической практике отдельных государств в самых разных регионах, но в меньшей степени проанализированных в приложении к международным отношениям [Кортунов, 2017].

Во-первых, это поиск нового месседжа, стремление к выстраиванию новых больших нарративов при отсутствии полной веры в них.

Во-вторых, осознание принципиальной неустойчивости, промежуточности нового состояния мира, которые, однако, не могут и не должны быть преодолены.

В-третьих, обращение ко всему историческому опыту, инструментализация истории, широкое применение домодерных, архаических практик в поисках нового нарратива.

Наконец, в-четвертых, неизбежность использования пост-модернистского инструментария (иронии, скепсиса, игры) при формулировании искомого месседжа.

Если соотнести эти четыре пункта с предыдущими рассуждениями о формировании нового миропорядка, то можно обозначить несколько его принципиальных черт в свете идеи неомодерна.

1. Новый мировой порядок, каким бы он ни был, должен быть подвижным, гибким, малоформализованным и априори неустойчивым.

2. Состав формирующих его акторов не может быть четко определен, сами эти акторы будут подвижны и разнородны, присущая каждому из них множественность идентичностей будет предопределять сложность выработки их политических стратегий и множественность самых разных внешнеполитических нарративов.

3. Нарратив — представление о должном мироустройстве, стремление к какой бы то ни было стабилизации — снова окажется значимым для всех игроков. Это должно вести к возвращению идеологии, частичному отказу от прагматизма во имя ценностей при понимании их условности. В каких-то случаях результатом может быть превращение прагматизма как такового в самодостаточную ценность.

4. Объективно происходящее размывание границ, в том числе между внутренней и внешней политикой, усиление их взаимозависимости будут продолжаться, перемежаясь при этом

с попытками укрепления суверенитетов отдельных игроков, попытками изоляционизма.

5. Подобные подвижность и неустойчивость при стремлении каждого игрока к укреплению собственной идентичности будут вести к повышению тревожности, а следовательно, и к нарастанию секьюритизации международных отношений. Центральной в этих условиях станет проблема поиска общего набора вызовов и угроз, который бы мог создать основу для позитивного взаимодействия.

Пространство ЗАСА, по всей видимости, не может избежать вовлечения в этот вездесущий мир неомодерна, однако какое место оно в нем занимает, как определяет себя, как новые веяния проявляются там — все эти вопросы требуют специального рассмотрения.

Как представляется, «промежуточность», неустойчивость нового состояния проявляются прежде всего в сосуществовании в ЗАСА как минимум двух региональных/цивилизационных политических идентичностей, порожденных разными временами и предписывающих выстраивание совершенно разных моделей политического поведения.

Первая из них — ближневосточная.

ЗАСА как Ближний Восток

Как справедливо отмечают В.Г. Барановский и В.В. Наумкин, «появление региональной ближневосточной идентичности стало ключевым фактором регионального мегатренда XX в. — формирования Ближнего Востока как единого политического региона» [Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018: 12]. Развивая эту мысль, авторы показывают, как в результате колониализма и антиколониальной борьбы изначально разделенное как минимум на четыре субрегиона пространство ЗАСА превратилось в современный Ближний Восток.

Поскольку и сам колониализм, и порожденное им национально-освободительное движение в странах Востока, естественно, были явлениями модерна, продуктами европейской эпохи Просвещения (отсюда и их идеологическая наполненность), ближневосточный регион также может рассматриваться как явление модерна.

В качестве некоего политического единства он возник в середине XX в. — в период обретения независимости большинством арабских государств. При этом драйверами его формирования

были, во-первых, арабский национализм, провозгласивший единство всех арабских стран, во-вторых, появление Израиля, борьба с которым на первых порах стала важным фактором консолидации арабов и укрепления их общей идентичности, и в-третьих, антиколониальный пафос молодых независимых государств. На протяжении последующих десятилетий границы региона расширялись: его неотъемлемыми элементами стали сначала обретшие независимость несколько позже других малые арабские государства Залива, затем отказавшийся от прозападного пути развития Иран и постепенно переориентировавшаяся на Юг Турция. Наконец, частью БВ оказался и Израиль, пусть изначально и воспринимавшийся географическими соседями антагонистически.

Будучи политическим регионом, БВ обладает довольно четкой внутренней структурой. В нем явно выделяются центр (Ирак, Сирия, Египет), периферия (Магриб), фронтиры (Мавритания, Судан). Ослабление регионального ядра и усиление флангов (Турция, Иран, Саудовская Аравия) стали, пожалуй, наиболее важным мотивом переформатирования БВ в XXI в.

Архитектура международных отношений, сложившихся в этот период в регионе, определялась спецификой путей его формирования и также была своеобразным продуктом модерна.

Прежде всего, она несла (и все еще несет) в себе ярко выраженный отпечаток постколониализма. Ярче всего это проявлялось в зависимости от внерегиональных акторов, всегда обеспечивавших региональную безопасность (сначала колониальные державы, после — США и СССР, затем — только США), и в постоянном апеллировании к ним при выстраивании внешней политики региональными державами. Характерно в этом отношении, что успешное проведение Россией операции в Сирии и непоследовательность американских действий в регионе в период администраций Б. Обамы и Д. Трампа привели, среди прочего, и к очевидному сближению Москвы с Эр-Риядом [Katz, 2018], а также с Дохой [Qatar-Russia relations touch new heights, 2018], хотя обе аравийские монархии на момент начала сирийской кампании были настроены к Москве чрезвычайно критически [Lucas, 2015: 5–6]. Страх саудовских элит перед Ираном и стремление Катара укрепить собственную безопасность перед лицом саудовской угрозы толкают их к поиску новых внерегиональных партнеров, потенциально способных к военному участию в делах БВ.

Другая важная черта ближневосточной подсистемы — это то, что ключевыми элементами ее организации во вполне модер-нистском духе были государства.

Формально претендующие на статус nation-states, они всегда отличались институциональной слабостью. В результате формируемая ими система, внешне воспроизводившая европейский опыт с его мощными государствами и исторически сложившейся пространственной организацией, никогда не могла быть реализована в полной мере. Результатом становилась подмена государствоцентризма режимоцентризмом и персонализмом, при которых реальными субъектами подсистемы выступали политические режимы, зачастую воплощенные конкретными лидерами. Отчасти это напоминает европейскую ситуацию XIX в. с ее «концертом держав». Персонализм при этом оказывает непосредственное влияние на региональные связи. Так, жесткая позиция аравийских монархов по Ливии в значительной степени была продиктована негативным личным отношением к ливийскому лидеру М. Каддафи¹¹, а одной из причин катарского кризиса считается личный конфликт между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедам бен Салманом и эмиром Катара¹². Институциональная слабость расположенных на БВ государств препятствовала формированию не только мощных наднациональных структур, но и сколь-либо эффективных межгосударственных политических организаций, способных вывести региональное сотрудничество на новый уровень.

С предыдущей характеристикой связана и важность фактора нациестроительства в регионе, выстраивания мощных национальных (общеарабских, субрегиональных или страновых) исторических нарративов, которые в теории должны утверждать идею национального суверенитета отдельных государств. Этим обусловлены значимая роль символической политики в международных отношениях в регионе [Звягельская, 2019], соперничество исторических нарративов во внешней политике региональных держав.

¹¹ Slackman M. Dislike for Qaddafi gives Arabs a point of unity // The New York Times. 2011. Available at: <https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/2011/03/22/world/africa/22arab.html>. (accessed: 01.02.2019).

¹² Ramesh R. The long-running family rivalries behind the Qatar crisis // The Guardian. 2017. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2017/jul/21/qatar-crisis-may-be-rooted-in-old-family-rivalries> (accessed: 15.02.2019).

Своеобразным следствием этого и проявлением стремления к выстраиванию «больших нарративов» становится присущий ближневосточной подсистеме эксклюзивизм: «дружба против» одного из расположенных здесь же государств всегда была одним из краеугольных камней региональных отношений. И хотя изгоями становились в разное время разные страны — Израиль, Ирак, в последнее время — Иран, само наличие изгоя было всегда *sine qua non* региональной консолидации. Характерно в этом отношении, что главным мотивом возрождения арабского национализма сегодня становится именно стремление объединиться против Ирана [Bin Saqer, 2016]. Фактически на этом построена вся концепция «арабского НАТО», противостоящего Ирану — этакому «персидскому СССР» (что, конечно, очень иронично, если учесть восприятие «малого Сатаны» в Исламской Республике).

Описанные характеристики определили и то, что важнейшим драйвером регионального развития было и остается соперничество между державами за региональное лидерство. Примечательны в этом соперничестве несколько моментов. Во-первых, отсутствие очевидного лидера при переизбытке претендентов на лидерские позиции. Во-вторых, относительная слабость каждого из претендентов, заставляющая его, с одной стороны, чрезвычайно ревностно воспринимать возможность вмешательства в его внутренние дела, что способно привести к дестабилизации политического режима, а с другой — постоянно апеллировать к помощи внерегиональных игроков. В-третьих, постепенное изменение состава претендентов на лидерство при внутренней хрупкости каждого из них, делающей невозможным формирование гармоничного «регионального концерта». Каждое из государств, рассматриваемых сегодня в качестве региональных столпов, — Турция, Иран, Израиль, Саудовская Аравия, Египет — обладает серьезными ограничителями регионального влияния и сталкивается с растущими рисками политической и социально-экономической стабильности. Кроме того, все они вынуждены оглядываться на государства «второго эшелона», в принципе, также не лишённые лидерских амбиций: ОАЭ, Катар, а потенциально и Ирак.

В целом для БВ как региона, воплощающего модернистскую модель международных отношений, характерно и свойственное эпохе модерна сочетание анархических принципов выстраивания региональных отношений, ярко выраженного прагматизма, реализма во внешнеполитическом поведении ключевых игроков

с воспроизводимыми ими ценностно ориентированными внешнеполитическими стратегиями. Когда-то поддержка насеровским Египтом или баасистскими режимами дружественных им арабских националистических движений, а сейчас поддержка Ираном шиитских меньшинств и политических структур в странах региона, Саудовской Аравией — салафитских сообществ и организаций, а Катаром и Турцией — «Братьев-мусульман» воспроизводят практики помощи в странах «третьего мира» коммунистическим движениям со стороны Советского Союза или же со стороны государств Запада — движениям демократическим. Несмотря на все противоречия между реализмом и идеализмом во внешней политике, и то, и другое, вне всякого сомнения, — черты, свойственные именно модернистским проектам.

При том что в системе международных отношений БВ присутствует вполне очевидно, сама его модернистская концепция в последние годы перестала быть столь определенной, как раньше.

Прежде всего, в XXI в. обозначилась тенденция к разрушению внутренней структуры региона и размыванию его границ. Первое проявилось в уже упоминавшемся кризисе государств центра (конфликты в Ираке и Сирии, политический и экономический кризис в Египте), а еще ранее — в фактическом упразднении эксклузивистской модели и снижении консолидации между основными странами региона. Ни одна из существующих сегодня в ЗАСА линий противостояния не позволяет объединить большинство региональных игроков в борьбе с кем-то одним. Более того, каждый существующий альянс оказывается не только ситуативным, но и секторальным. Так, находясь в жесткой оппозиции Тегерану по военно-политическим вопросам, ОАЭ рассматривают его как важнейшего экономического партнера¹³.

Свидетельствами размывания границ региона стали, с одной стороны, появление различных альтернативных проектов организации данного пространства (например, можно вспомнить концепцию «Большого Ближнего Востока», предложенную американскими неоконсерваторами), а с другой — укрепление в некоторых частях БВ трансрегионального сотрудничества (в частности, Магриб—ЕС), зачастую более эффективного, чем внутрирегиональное (провал фактически заморозившего свою деятельность в 1994 г. Союза арабского Магриба).

¹³ Cafiero G. Trouble brews between the UAE and Iran // Inside Arabia. 13.02.2019. Доступ: <https://insidearabia.com/trouble-brews-uae-iran/> (дата обращения: 11.07.2019).

В это же время дала трещину система аутсорсинга безопасности. Оставшись в одиночестве, США оказались не способны поддерживать хрупкий региональный баланс сил. Осуществленное ими военное вторжение в Ирак не принесло должных результатов, превратив эту страну в источник новых угроз, и обернулось непомерными финансовыми и репутационными затратами. Каирская речь Б. Обамы в 2009 г.¹⁴, воспринятая в Тель-Авиве как антиизраильская [Согрин, 2014: 59–60], неготовность Вашингтона поддержать дружественный ему режим Х. Мубарака в 2011 г., попытки сближения с Ираном были восприняты региональными союзниками Белого дома (Израилем, Египтом при А. ас-Сиси, Саудовской Аравией) как предательство¹⁵. Бесконечная интрига Д. Трампа вокруг признания Иерусалима столицей Израиля и предстоящего заключения «сделки века» в совокупности с новым антииранским курсом, отказом от СВПД¹⁶ и откровенным транзакционизмом в отношении Эр-Рияда и Дохи положения дел не улучшили.

Вместе с тем ни один другой внерегиональный актор, включая Россию, заменить США в регионе сегодня не готов.

Все эти и некоторые другие явления [Кузнецов, 2017] свидетельствовали о переходе ЗАСА в состояние постмодерна, при котором все черты модернистского устройства БВ оказались поставлены под сомнение, а сам регион, формально сохраняясь, постепенно утрачивал свои ключевые характеристики, превращаясь в этакий *failed region*.

ЗАСА как часть исламского мира

Одновременно с размыванием модернистского концепта БВ все отчетливее стала проявляться его альтернатива, в сущности своей домодерная — концепция ЗАСА как части исламского мира.

¹⁴ Выступление президента США о новой странице в отношениях. Каирский университет (Каир, Египет) // Белый дом. 04.06.2009. Доступ: https://obamawhitehouse.archives.gov/files/documents/aneewbeginning/SPEECH_as_delivered-Russian.pdf (дата обращения: 11.07.2009).

¹⁵ Например: Nazer F. Clinton, Trump, and Riyadh. How Saudi Arabia sees the U.S. presidential election // Foreign Affairs. 28.03.2016. Доступ: <https://www.foreignaffairs.com/articles/saudi-arabia/2016-03-28/clinton-trump-and-riyadh> (дата обращения: 11.07.2019).

¹⁶ Совместный всеобъемлющий план действий — политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

В работах, посвященных формированию нового миропорядка, в особенности в тех из них, в которых рассматривается перспектива его полицентричной организации, довольно часто встречается упоминание о возможности образования некоего исламского полюса мировой политики. И хотя авторы, описывая исламский мир, неизменно подчеркивают исходящие из него угрозы, отмечают дефицит его международной субъектности, обращают внимание на множество содержащихся в нем внутренних противоречий [Наумкин, 2008: 485], они, кажется, готовы признать за ним потенциальную способность к консолидации. Эта идея встречается не только у не раз подвергавшегося жесткой критике со стороны востоковедов С. Хантингтона, но и у его оппонентов, включая российских. Так, В.Г. Барановский, хотя и пишет, что внутренняя фрагментация исламского мира «по страновым, клановым и конфессиональным основаниям делает образ “столкновения цивилизаций” метафорой, вряд ли пригодной для описания системы международных отношений как на глобальном уровне, так и в региональных контекстах» [Барановский, 2017: 77], все же относит его к числу возможных центров влияния.

Одной из последних отечественных работ на эту тему стала статья Л.Л. Фитуни и И.О. Абрамовой, в которой авторы попытались увидеть в мировой экономике тенденцию к формированию ее «мусульманского полюса» [Фитуни, Абрамова, 2018].

Проблема, с которой сталкивается любой автор, рассуждающий на тему исламского центра в мировой политике, состоит в том, что средневековая идея исламского мира (*дар аль-ислам*) плохо соотносится с порожденными европейским модерном концепциями миропорядка: его ключевыми элементами могут быть государства, региональные структуры, негосударственные акторы, но никак не цивилизационные общности.

Конечно, на протяжении XX в. и в ЗАСА, и за его пределами существовала тенденция к модернизации концепции *дар аль-ислам*, ярчайшим проявлением чего стало создание в 1969 г. Организации Исламская конференция (с 2011 г. — Организация исламского сотрудничества), превратившейся сегодня во вторую после ООН правительственную международную организацию в мире по числу участников (57 государств). Еще ранее, хотя и не столь очевидно, стремление придать исламу субъектность проявилось в деятельности некоторых исламистских движений,

таких как «Братья-мусульмане», пытавшихся в своей идеологии и практической активности соединить идею исламской уммы с концепциями европейского национализма, а также в деятельности основателя Пакистана Мухаммеда Али Джинны — автора теории «двух наций». Все эти проекты свидетельствовали, с одной стороны, о сохранении в среде мусульманских интеллектуалов стремления обратиться именно к конфессиональной идентичности в международной практике, а с другой — об их желании переосмыслить собственный культурный опыт через призму впитанной западной социально-политической теории (насколько искренними были эти усилия, а насколько речь шла о необходимости «перевода» европейской мысли на язык, понятный большинству населения соответствующих стран, — другой вопрос). Однако в результате всех этих попыток так и не удалось преодолеть фундаментальное противоречие между современным развитием системы международных отношений и средневековыми теоретическими построениями. Явственным свидетельством неуспеха стало то, что исламские экономические институты так и не смогли занять доминирующее положение даже в самих мусульманских странах.

Вместе с тем нельзя не отметить и сохранения чисто домодерного представления о существовании исламского мира, и никогда не прекращавшихся в определенной среде попыток интерпретации реальности именно через призму этого представления.

Его основой было то, что Османская империя и более ранние арабо-мусульманские государства не просто были религиозными, но идентифицировали себя прежде всего по религиозному признаку. Формально они даже обозначали себя не как государства, а как *дар аль-ислам*. Соответственно чисто гипотетически власть халифа распространялась не столько на конкретную территорию, сколько на всех мусульман мира. «Обитель ислама» в традиционной исламской политической теории противопоставлялась *дар аль-харб* — «Обители войны» (т.е. территории, на которую должна распространиться власть ислама) и *дар ас-сульх* — «Обители договора» (т.е. территории, где мусульмане, не имея политического превосходства, все же могут свободно исповедовать свою веру).

В XXI в. остававшиеся ранее маргинальными религиозно-политические интерпретации международных отношений в ЗАСА стали обретать все большую популярность, отчасти реализуясь

в политической практике, отчасти разрабатываясь в теоретическом поле.

В политической практике можно назвать как минимум три проявления реализации подобных интерпретаций: деятельность «ДАИШ»¹⁷, «Аль-Каиды» и других как джихадистских, так и не джихадистских сетевых исламистских организаций; использование религиозного дискурса для консолидации региональных акторов в борьбе с общими угрозами («Суннитская коалиция», шиитская в сущности «Ось сопротивления» и др.); укрепление внетерриториальной конфессиональной идентичности в мусульманских общинах за пределами собственно исламского мира.

В теоретическом поле речь идет об усиленной разработке отдельных вопросов исламской политической теологии в последние годы, включая так называемую теологию джихада. Ожесточенные баталии между различными школами богословов, обеспечивавших концептуально-правовую деятельность джихадистских организаций («Аль-Каиды» и «ДАИШ» в первую очередь) [Гасымов, 2015; Bunzel, 2015], не в меньшей мере, чем объективно сформировавшиеся новые социально-политические условия, мотивировали к интеллектуальным поискам и лоялистски настроенных улемов в разных странах.

Несомненно, важной вехой при этом оказалось то, что все эти интеллектуальные поиски в последние годы выходят за пределы собственно религиозной интеллектуальной среды, становясь элементами более широких интерпретаций международных процессов в ЗАСА. Так, сама идея анализа региональных процессов через призму конфессионализма (как противостояния шиитов с суннитами, мусульман с западными «крестоносцами»), а вместе с тем и мысль о необходимости поддержки тех или иных конфессиональных групп со стороны как региональных, так и нерегionalных акторов никак не связаны с модернистским пониманием международных отношений. Подобные представления были порождены именно исламским их видением.

Постепенное укрепление домодерной концепции исламского мира волей-неволей ставит вопрос о специфических чертах миропорядка, свойственных соответствующему подходу.

¹⁷ Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

Как представляется, можно выделить как минимум пять его основных черт, каждая из которых должна, разумеется, интерпретироваться очень по-разному.

Во-первых, это представление о фундаментальном единстве мира, должном соответствии человеческого закона закону Божественному, из чего следуют принципиальное неприятие анархического принципа организации международных отношений, уверенность в необходимом их следовании Божественному замыслу и моральным основаниям бытия.

Во-вторых, это идея примата ценностных оснований политики, священного над мирским, представление о международных отношениях как о взаимодействии между различными конфессиональными группами или, по мысли С. Кутба, между исламом и джахилией (варварством), которые и становятся главными акторами.

В-третьих, это бинарное противопоставление мира веры и мира безверия (*дар аль-куфр*) [Барановский, Наумкин, 2018], конфликт между которыми если и допускает компромиссные решения, то лишь на время, отрицание секуляризма как среднего пути между атеизмом и религиозностью.

В-четвертых, это эсхатологическая уверенность в конечной победе мира веры над миром безверия.

Наконец, в-пятых, это убежденность в не территориальной, а сетевой организации миропорядка. Мир веры и мир безверия — это прежде всего не географические объекты, а человеческие сообщества, одно из которых идет по пути Бога, другое же поклоняется идолам.

Подчеркнем, что все упомянутые специфические черты исламского понимания миропорядка приведены в радикальной трактовке, наиболее ярко высвечивающей их смысловое ядро.

Несмотря на то что говорить о полноценной реализации этого видения в ЗАСА не приходится, отдельные его элементы так или иначе здесь проявляются, причем довольно ярко.

Так, представления о нетерриториальности уммы, примате священного над мирским ярко выражены не только в деятельности исламистских партий и движений (знаменитый «франчайзинг» «ДАИШ», сетевая организация «Аль-Каиды», отчасти — «Братьев-мусульман»), но и в демонстрации исламской солидарности при столкновении с общими для мусульман угрозами (в особенности на символическом уровне), во взаимной

поддержке шиитских меньшинств в странах региона (например, «Хизбалла» и йеменские хуситы) и т.д.

Эсхатологическое видение мира в свою очередь делает возможным проведение гибкой политической линии исламистскими партиями, признание ими демократических практик, временных союзов с внерегиональными игроками и т.п. Такая политика, сталкиваясь с бинарным противопоставлением мира веры и мира неверия, становится источником для подозрений в «двойном дискурсе» исламистов.

* * *

В становящемся мире неомодерна находят проявления самые разные принципы организации международных отношений. И если ближневосточный концепт в пространстве ЗАСА проходит испытание постмодернистским релятивизмом, а отдельные его элементы размываются, то домодерный концепт исламского мира, напротив, вновь становится актуальным.

В мире неомодерна, по всей видимости, эти два проекта будут сосуществовать, несмотря на то что по целому ряду ключевых параметров они противоречат друг другу. В таблице схематично представлены основные линии противостояния.

Именно эта неоднозначность, амбивалентность, не допускающая формирования единой и непротиворечивой региональной подсистемы отношений, и станет важнейшей чертой нового века.

ЗАСА между Ближним Востоком и исламским миром в эпоху неомодерна: линии противоречий

Модерн Характеристики ЗАСА как Ближнего Востока		Домодерн Характеристики ЗАСА как исламского мира		Характеристики неомодерна
Анархический принцип	vs	Единство мира	=	Априорная неустойчивость миропорядка
Национальные государства	vs	Конфессиональные группы	=	Гетерогенность акторов
Национальные нарративы	vs	Религиозные нарративы	=	Важность нарративов
Жесткая региональная архитектура и борьба за лидерство	vs	Нетерриториальность	=	Размывание границ при стремлении к суверенитету

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеевкова Е.С. Хаос и игра без правил: о современном кризисе доверия в отношениях России и Запада // Полития. 2015. № 1 (76). С. 67–81. DOI: 10.30570/2078-5089-2015-76-1-7-67-81.
2. Барабанов О.Н., Бордачев Т.В., Лисоволик Я.Д. и др. Жизнь в осыпающемся мире. Международный дискуссионный клуб «Валдай». 2018. Доступ: <http://ru.valdaiclub.com/files/22596/> (дата обращения: 05.02.2019).
3. Барановский В.Г. Трансформация глобального миропорядка: динамика системных изменений // Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 71–91. DOI: 10.17976/jpps/2017.03.05.
4. Барановский В.Г., Наумкин В.В. «Мир веры» и «мир неверия»: экспансия и редукция религиозности // Полис. Политические исследования. 2018. № 6. С. 8–31. DOI: 10.17976/jpps/2018.06.02.
5. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин. М.: ИВ РАН, 2018.
6. Богатуров А.Д. Системное и конгломеративное видение современного мира // Современная политическая наука. Методология. М.: Аспект-Пресс, 2018. С. 594–610.
7. Бодрийяр Ж. В тени тысячелетия, или приостановка года 2000. 1998. Доступ: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000326/> (дата обращения: 16.02.2019).
8. Васильев А.М. От Ленина до Путина. Россия на Ближнем и Среднем Востоке. М.: Центрполиграф, 2018.
9. Воскресенский А.Д. Концепции регионализации, региональных подсистем, региональных комплексов и региональных трансформаций в современных международных отношениях // Сравнительная политика. 2012. № 2 (8). С. 30–58. DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-30-58.
10. Гантман В.И., Волкова Е.Д., Барановский В.Г. Система, структура и процесс развития международных отношений. М.: Наука, 1984.
11. Гасымов К. Разлад в стане джихадистов: идеологическая борьба Аль-Каиды с организацией «Исламское государство» // Индекс безопасности. 2015. № 3 (114). С. 61–82.
12. Дунаев А.Л. Понятия «система» и «порядок» в историографии международных отношений: трудности интерпретации // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2013. № 2. С. 4–22.
13. Звягельская И.Д. Ближний Восток и Центральная Азия: глобальные тренды в региональном исполнении. М.: Аспект-Пресс, 2018.
14. Звягельская И.Д. Символы и ценности в международных отношениях на Ближнем Востоке // Полис. Политические исследования. 2019. № 1. С. 105–123. DOI: 10.17976/jpps/2019.01.08.
15. Звягельская И.Д., Кузнецов В.А. Государственность на Ближнем Востоке. Будущее началось вчера // Международные процессы. 2017. № 15 (4). С. 6–19. DOI 10.17994/IT.2017.15.4.51.1.
16. Иванов А.В. «Множественные современности»: диалектика единства и разнообразия в эпоху глобализации // Фундаментальные исследования. 2014. № 6. С. 654–659.

17. Кортунов А.В. От постмодернизма к неомодернизму, или воспоминания о будущем // РСМД. 30.01.2017. Доступ: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-vospominaniya-o-budushch/> (дата обращения: 15.01.2019).
18. Косолапов Н.А. Россия: территория в пространствах глобализирующегося мира // Мировая экономика и международные отношения. 2005. № 7. С. 3–14.
19. Кузнецов В.А. После постмодерна: ближневосточное измерение одного тренда // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 2017. № 3. С. 25–37.
20. Лапкин В.В. О национальном vs имперском обустройстве современного миропорядка // Полис. Политические исследования. 2018. № 4. С. 37–55. DOI: 10.17976/jpps/2018.04.04.
21. Махмутов Т.А., Мамедов Р.Ш. Предложения к формированию системы региональной безопасности в Западной Азии и Северной Африке. Российский совет по международным делам: Рабочая тетрадь. 2017. № 38.
22. Наумкин В.В. Ислам как коллективный игрок? // Ислам и мусульмане: культура и политика (статьи, очерки и доклады разных лет). М.; Нижний Новгород: Медина, 2008. С. 483–502.
23. Никитин А.И. Современный миропорядок: его кризис и перспективы // Полис. Политические исследования. 2018. № 8. С. 32–46. DOI: 10.17976/jpps/2018.06.03.
24. Согрин В.В. Барак Обама: внешняя политика либерального прогрессиста // Общественные науки и современность. 2014. № 3. С. 57–72.
25. Фененко А.В. История международных отношений: 1648–1945. М.: Аспект-Пресс, 2018.
26. Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Мусульманский полюс мировой экономики и джинн глобализации // Вестник МГИМО-Университета. 2018. № 4 (61). С. 55–77. DOI 10.24833/2071-8160-2018-4-61-55-77.
27. Шумилин А.И. Политика США на Ближнем Востоке в контексте «арабской весны». М.: Международные отношения, 2015.
28. Axworthy M., Milton P. A Westphalian peace for the Middle East // Foreign Affairs. 2016. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-10-10/westphalian-peace-middle-east?fbclid=IwAR3F6ljVm485HGTWymw65jdbY4OG5w-QUrAO0X1LpF_bWW4AtcyyWpz2D3A (accessed: 01.02.2019).
29. Aydin C. The idea of the Muslim world. A global intellectual history. Cambridge: Harvard University Press, 2017.
30. Bin Saqer A. Al-Khalij fi ‘am 2014–2015. Al-Ittihad al-khalijiy al-‘arabiyy huwa-l-mustaqbal. Qadaya al-aman wa-l-difa’ fi duwal al-majlis al-ta’aun al-khalidjiy. Jeddah: Markaz al-khalidjiy li-l-abhath, 2016. Available at: http://www.grc.net/data/contents/uploads/Dr_Sager_paper_3507.pdf (accessed: 09.02.2019).
31. Bourriaud N. Altermodern: Tate triennial 2009. London: Tate Publishing, 2009.
32. Bunzel C. From Paper State to Caliphate: The ideology of the Islamic State. The Brookings project on U.S. relations with the Islamic World. Analysis Paper. 2015. No. 19.

33. Dussel E.D. Transmodernity and interculturality: An interpretation from the perspective of philosophy of liberation // *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*. 2012. No. 1 (3). P. 28–55.
34. Eisenstadt S.N. Multiple modernities // *Daedalus*. 2000. Vol. 129. No. 1. P. 1–29.
35. Haas R. The age of nonpolarity. What will follow U.S. dominance // *Foreign Affairs*. 2008. Available at: <http://www.cfr.org/united-states/age-nonpolarity/pl6034> (accessed: 05.02.2019).
36. Haas R. The unraveling: How to respond to a disordered world // *Foreign Affairs*. 2014. No. 93 (6). P. 70–79.
37. Harrison R. Toward a regional framework for the Middle East. Takeaways from other regions. MEI Policy. 2016. No. 10. Available at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP10_Harrison_RCS_regionalframework_web_1.pdf (accessed: 15.02.2019).
38. Hutcheon L. The politics of postmodernism. New York; London: Routledge, 2002.
39. Kamel L. There is no Thirty Years' War in the Middle East // *National Interest*. 2019. Available at: <http://nation-alinterest.org/feature/there-no-thirty-years-war-the-middle-east-17513> (accessed: 10.02.2019).
40. Katz M. Balancing act: Russia between Iran and Saudi Arabia // *Middle East Centre Blog*. 07.05.2018. Available at: <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/26/balancing-act-russia-between-iran-and-saudi-arabia/> (accessed: 07.05.2018).
41. Kirby A. Digymodernism. How new technologies dismantle the postmodern and reconfigure our culture. London: Continuum, 2009.
42. Kuznetsov V. Western Asia and North Africa in the neo-modernity context: Between the Middle East and the Islamic World // *Russia in Global Affairs*. 2019. No. 1. P. 124–146.
43. Lucas S. The effects of Russian intervention in the Syria crisis. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham, 2015.
44. Mahbubani K. How the ASEAN 'miracle' is a model for the Middle East // *Asia Society*. 2017. Available at: <https://asiasociety.org/blog/asia/how-asean-miracle-model-middle-east> (accessed: 11.02.2019).
45. Nye J.S. Jr. Is the American century over? Cambridge, Malden: Polity Press, 2015.
46. Qatar-Russia relations touch new heights // *The Peninsula*. 2018. Available at: <https://thepeninsulaqatar.com/article/02/08/2018/Qatar-Russia-relations-touch-new-heights> (accessed: 02.01.2019).
47. Samuels R. Auto-modernity after postmodernism: Autonomy and automation in culture, technology, and education // *Digital Youth, Innovation, and the Unexpected* / Ed. by T. McPherson. Cambridge: The MIT Press, 2008. DOI: 10.1162/dmal.9780262633598.219.
48. Sazak C.S. No Westphalia for the Middle East // *Foreign Affairs*. 2016. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2016-10-27/no-westphalia-middle-east?fbclid=IwAR0CqSLEdwyYxL13orlVbP71PECF3jvyBRNJRrRUZvQZXaAzGTiq64uLm7s> (accessed: 07.02.2019).
49. Vermeulen T., Akker R. Van der. Notes on metamodernism // *Journal of Aesthetics & Culture*. 2010. Vol. 2. DOI: 10.3402/jac.v2i0.5677.

V.A. Kuznetsov

**FROM THE OCEAN TO THE GULF:
ONE REGION'S IDENTITY
IN THE CONTEXT OF NEOMODERNITY**

*Institute of Oriental Studies
12 Rozhdestvenka st., Moscow, 107031*

The paper examines specific features of international relations in Western Asia and North Africa (WANA) in a broader context of transformation of the contemporary international relations system. The author approaches the issue of a new world order emergence within the framework of fundamental changes taking place in the public sphere. In the paper these processes are considered in terms of transition from postmodernity to neomodernity. On the basis of critical examination of postmodernist writings the author defines the phenomenon of neomodernity and outlines its key features. This approach provides a new perspective on the essence and possible contours of the emerging new world order. According to the author, its key characteristics are to include volatility, flexibility, and instability which, in their turn, will engender a multitude of collective identities and a multitude of foreign policy narratives, a growing role of ideological factors and an increasing securitization of international relations. The author demonstrates that these transformational changes have already taken place in the WANA region and the concept of neomodernity allows to identify two coexisting patterns of political self-identification and, correspondingly, two possible scenarios for the development of a regional IR system. The first pattern considers the WANA region in a traditional modernist sense as the Middle East, whereas the second one accentuates its premodern features and conceptualizes it as part of the Islamic world. The concepts of the Middle East and of the Islamic world present fundamentally different perspectives on the nature of actors, the role of political narratives, the attitude towards borders and sovereignty, and on the very foundations of the world order. And if the former is put to the test by postmodernist relativism in the WANA space and some of its basic elements are eroding, the latter, on the contrary, regains its relevance. The author emphasizes that within the framework of neomodernity these two concepts may evolve in parallel, transforming uncertainty and ambivalence of the regional IR subsystem into major feature of a new century.

Keywords: Western Asia and North Africa, WANA, neomodernity, the Middle East, the Islamic world, postmodernism, premodernity, the world order.

About the author: *Vassily A. Kuznetsov* — PhD (History), Head of the Center for Arab and Islamic Studies, Institute of Oriental Studies, the

Russian Academy of Sciences; Associated Professor at the Chair of Regional Issues of the World Politics, School of World Politics, Lomonosov Moscow State University (e-mail: vasiakuznets@yandex.ru).

Acknowledgements: The research has been accomplished with a financial support from the Russian Science Foundation, project №17-18-01614.

REFERENCES

1. Alekseenkova E.S. 2015. Khaos i igra bez pravil: O sovremennom krizise doveriya v otnosheniyakh Rossii i Zapada [Chaos and game without rules: On modern crisis of trust in relations between Russia and the West]. *Politika*, no. 1 (76), pp. 67–81. DOI: 10.30570/2078-5089-2015-76-1-7-67-81. (In Russ.)
2. Barabanov O.N., Bordachev T.V., Lisovolik Ya.D. 2018. *Zhizn' v osypayushchemsya mire*. [Living in a crumbling world]. Valdai Discussion Club Report. Available at: <http://valdaiclub.com/files/20155/> (accessed: 05.02.2019). (In Russ.)
3. Baranovskii V.G. 2017. Transformatsiya global'nogo miroporyadka: dinamika sistemnykh izmenenii [Transformation of global world order: Dynamics of systemic changes]. *Polis. Political Studies*, no. 3, pp. 71–91. DOI: 10.17976/jpps/2017.03.05. (In Russ.)
4. Baranovskii V.G., Naumkin V.V. 'Mir very' i 'mir neveriya': ekspansiya i reduktsiya religioznosti [World of faith and world of disbelief: Expansion and reduction of religiosity]. *Polis. Political Studies*, no. 6, pp. 8–31. DOI: 10.17976/jpps/2018.06.02. (In Russ.)
5. Baranovskii V.G., Naumkin V.V. (eds.). 2018. *Blizhnii Vostok v menyayushchemsya global'nom kontekste* [The Middle East in the changing global context]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
6. Bogaturov A.D. 2018. Sistemnoe i konglomerativnoe videnie sovremennogo mira [Systemic and conglomerative vision of the contemporary world]. In *Sovremennaya politicheskaya nauka. Metodologiya* [Contemporary political science. A methodology]. Moscow, Aspekt-Press Publ., pp. 594–610. (In Russ.)
7. Bodriy Zh. 1998. *V teni tysyacheletiya, ili priostanovka goda 2000* [In the shadow of the millennium (or the suspense of the year 2000)]. Available at: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000326/> (accessed: 16.02.2019). (In Russ.)
8. Vasil'ev A.M. 2018. *Ot Lenina do Putina. Rossiya na Blizhnem i Srednem Vostoke* [From Lenin to Putin. Russia in the Near and Middle East]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ. (In Russ.)
9. Voskresenskii A.D. 2012. Kontseptsii regionalizatsii, regional'nykh podsystem, regional'nykh kompleksov i regional'nykh transformatsii v sovremennykh mezhdunarodnykh otnosheniyakh [Concepts of regionalization, regional subsystems, regional complexes and regional transformations in contemporary IR]. *Comparative Politics Russia*, no. 2 (8), pp. 30–58. DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-30-58. (In Russ.)
10. Dunaev A.L. 2013. Ponyatiya 'sistema' i 'poryadok' v istoriografii mezhdunarodnykh otnoshenii: trudnosti interpretatsii ['System' and 'order' in historiography of international relations: Challenges of conceptual interpretation]. *Moscow University Bulletin of World Politics*, no. 2, pp. 4–22. (In Russ.)

11. Gantman V.I., Volkova E.D., Baranovskii V.G. 1984. *Sistema, struktura i protsess razvitiya mezhdunarodnykh otnoshenii* [System, structure and the development of international relations]. Moscow, Nauka Publ. (In Russ.)
12. Gasyimov K. 2015. Razlad v stane dzhikhadistov: ideologicheskaya bor'ba Al'-Kaidy s organizatsiei 'Islamskoe gosudarstvo' [A discord among the jihadists: Ideological struggle between Al-Qaeda and ISIS]. *Indeks bezopasnosti*, no. 3 (114), pp. 61–82. (In Russ.)
13. Zvyagel'skaya I.D. 2018. *Blizhnii Vostok i Tsentral'naya Aziya: global'nye trendy v regional'nom ispolnenii* [Middle East and Central Asia: Global trends in regional execution.]. Moscow, Aspekt-Press Publ. (In Russ.)
14. Zvyagel'skaya I.D. 2019. Simvoly i tsennosti v mezhdunarodnykh otnosheniyakh na Blizhnem Vostoke [Symbols and values in international relations in the Middle East]. *Polis. Political Studies*, no. 1, pp. 105–123. DOI: 10.17976/jpps/2019.01.08. (In Russ.)
15. Zvyagel'skaya I.D., Kuznetsov V.A. 2017. Gosudarstvennost' na Blizhnem Vostoke. Budushchee nachalos' vchera [Statehood in the Middle East: The future which started yesterday]. *International trends*, no. 15 (4), pp. 6–19. DOI 10.17994/IT.2017.15.4.51.1. (In Russ.)
16. Ivanov A.V. 2014. 'Mnozhestvennye sovremennosti': dialektika edinstva i raznoobraziya v epokhu globalizatsii [Multiple modernities: Dialectic of unity and diversity in the era of globalization]. *Fundamental'nye issledovaniya*, no. 6, pp. 654–659. (In Russ.)
17. Kortunov A.V. 2017. *Ot postmodernizma k neomodernizmu, ili vospominaniya o budushchem* [From post-modernism to neo-modernism]. Russian International Affairs Council. Available at: <http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-postmodernizma-k-neomodernizmu-ili-vospominaniya-o-budushchem/> (accessed: 15.01.2019). (In Russ.)
18. Kosolapov N.A. 2005. Rossiya: territoriya v prostranstvakh globaliziruyushchegosya mira [Russia: Territory in spaces of globalizing world]. *World Economy and International Relations*, no. 7, pp. 3–14. (In Russ.)
19. Kuznetsov V.A. 2017. Posle postmoderna: blizhnevostochnoe izmerenie odnogo trenda [After postmodernism: Middle Eastern dimension of one trend]. *Vostok (Oriens)*, no. 3, pp. 25–37. (In Russ.)
20. Lapkin V.V. 2018. O natsional'nom vs imperskom obustroistve sovremen-nogo miroponyadka [Nation vs empire in the modern world order]. *Polis. Political Studies*, no. 4, pp. 37–55. DOI: 10.17976/jpps/2018.04.04. (In Russ.)
21. Makhmutov T.A., Mamedov R.Sh. 2017. *Predlozheniya k formirovaniyu sistemy regional'noi bezopasnosti v Zapadnoi Azii i Severnoi Afrike* [Proposals on building a regional security system in West Asia and North Africa]. Russian International Affairs Council. No. 38. (In Russ.)
22. Naumkin V.V. 2008. Islam kak kollektivnyi igrok? [Islam as a collective actor?]. In *Islam i musul'mane: kul'tura i politika* [Islam and Muslims: Culture and politics]. Moscow, Nizhnii Novgorod, Medina Publ., pp. 483–502. (In Russ.)
23. Nikitin A.I. 2018. Sovremennyy miroponyadok: ego krizis i perspektivy [Modern world order: Its crisis and prospects] *Polis. Political Studies*, no. 8, pp. 32–46. DOI: 10.17976/jpps/2018.06.03. (In Russ.)
24. Sogrin V.V. 2014. Barak Obama: vneshnyaya politika liberal'nogo progressista [Barak Obama: Foreign policy of a progressive liberal]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, no. 3, pp. 57–72. (In Russ.)

25. Fenenko A.V. 2018. *Istoriya mezhdunarodnykh otnoshenii: 1648–1945* [History of international relations, 1648–1945]. Moscow, Aspekt-Press Publ. (In Russ.)
26. Fituni L.L., Abramova I.O. 2018. Musul'manskii polyus mirovoi ekonomiki i dzhinn globalizatsii [Muslim pole of the world economy and the genie of globalization]. *MGIMO Review of International Relations*, no. (61), pp. 55–77. DOI 10.24833/2071-8160-2018-4-61-55-77. (In Russ.)
27. Shumilin A.I. 2015. *Politika SShA na Blizhnem Vostoke v kontekste 'arabskoi vesny'* [U.S. policy in the Middle East in the context of the Arab Spring]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ. (In Russ.)
28. Axworthy M., Milton P. 2016. A Westphalian peace for the Middle East. *Foreign Affairs*. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/europe/2016-10-10/westphalian-peace-middle-east?fbclid=IwAR3F61jVm485HGTWymw65jdbY4OG5w-QUrAO0X1LpF_bWW4AtcyyWpz2D3A (accessed: 01.02.2019).
29. Aydin C. 2017. *The idea of the Muslim world. A global intellectual history*. Cambridge, Harvard University Press.
30. Bin Saqer A. 2016. *Al-Khalij fi 'am 2014–2015. Al-Ittihad al-khalijiy al-'arabiy huwa-l-mustaqbal. Qadaya al-aman wa-l-difa' fi duwal al-majlis al-ta'aun al-khalidjiy*. Jeddah, Markaz al-khalidjiy li-l-abhath. Available at: http://www.grc.net/data/contents/uploads/Dr_Sager_paper_3507.pdf (accessed: 09.02.2019). (In Arab.)
31. Bourriaud N. 2009. *Altermodern: Tate triennial 2009*. London, Tate Publishing.
32. Bunzel C. 2015. *From Paper State to Caliphate: The ideology of the Islamic State*. The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World. Analysis Paper. No. 19.
33. Dussel E.D. 2012. Transmodernity and interculturality: An interpretation from the perspective of philosophy of liberation. *Transmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, no. 1 (3), pp. 28–55.
34. Eisenstadt S.N. 2000. Multiple modernities. *Daedalus*, vol. 129, no. 1, pp. 1–29.
35. Haass R. 2008. The age of nonpolarity. What will follow U.S. dominance. *Foreign Affairs*. Available at: <http://www.cfr.org/united-states/age-nonpolarity/p16034> (accessed: 05.02.2019).
36. Haass R. 2014. The unraveling: How to respond to a disordered world. *Foreign Affairs*, no. 93 (6), pp. 70–79.
37. Harrison R. 2016. *Toward a regional framework for the Middle East. Takeaways from other regions*. MEI Policy. No. 10. Available at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PP10_Harrison_RCS_regionalframework_web_1.pdf (accessed: 15.02.2019).
38. Hutcheon L. 2002. *The politics of postmodernism*. New York, London, Routledge.
39. Kamel L. 2019. There is no Thirty Years' War in the Middle East. *National Interest*. Available at: <http://nation-alinterest.org/feature/there-no-thirty-years-war-the-middle-east-17513> (accessed: 10.02.2019).
40. Katz M. 2018. Balancing act: Russia between Iran and Saudi Arabia. *Middle East Centre Blog*. Available at: <https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/06/26/balancing-act-russia-between-iran-and-saudi-arabia/> (accessed: 07.05.2018).
41. Kirby A. 2009. *Digymodernism. How new technologies dismantle the postmodern and reconfigure our culture*. London, Continuum.

42. Kuznetsov V. 2019. Western Asia and North Africa in the neo-modernity context: Between the Middle East and the Islamic World. *Russia in Global Affairs*, no. 1, pp. 124–146.
43. Lucas S. 2015. *The effects of Russian intervention in the Syria crisis*. Birmingham, UK, GSDRC, University of Birmingham.
44. Mahbubani K. 2017. How the ASEAN ‘miracle’ is a model for the Middle East. *Asia Society*. Available at: <https://asiasociety.org/blog/asia/how-asean-miracle-model-middle-east> (accessed: 11.02.2019).
45. Nye J.S. Jr. 2015. *Is the American century over?* Cambridge, Malden, Polity Press.
46. Qatar-Russia relations touch new heights. 2018. *The Peninsula*. Available at: <https://thepeninsulaqatar.com/article/02/08/2018/Qatar-Russia-relations-touch-new-heights> (accessed: 02.01.2019).
47. Samuels R. 2008. Auto-modernity after postmodernism: Autonomy and automation in culture, technology, and education. In McPherson T. (ed.). *Digital youth, innovation, and the unexpected*. Cambridge, The MIT Press, pp. 219–240. DOI: 10.1162/dmal.9780262633598.219.
48. Sazak C.S. 2016. No Westphalia for the Middle East. *Foreign Affairs*. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2016-10-27/no-westphalia-middle-east?fbclid=IwAR0CqSLEdwyYxL13orlVbP71PECF3jvyBRNJRRuZvQZXaAzGTiq64uLm7s> (accessed: 07.02.2019).
49. Vermeulen T., Akker R. Van der. 2010. Notes on metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*, vol. 2. DOI: 10.3402/jac.v2i0.5677.

А.В. Сарабьев*

**БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ «ШИИТСКАЯ ДУГА»:
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
ИЛИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ХИМЕРА?***

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт востоковедения Российской академии наук»
107031, Москва, ул. Рождественка, 12*

Термин «шиитский полумесяц», или «шиитская дуга», все чаще встречается в политическом дискурсе, аналитических работах и СМИ. Им обозначают угрозу, которая якобы исходит от альянса стран и сил, зависимых от Ирана. При этом четкого определения состава альянса не дается: по принципу лояльности Ирану и общности религиозного исповедания к нему относят, помимо Ирана, Ирак, Сирию, ливанскую «Хизбаллу», а иногда шиитские силы Бахрейна и даже Йемена. Актуальность эта проблематика получает в моменты обострения антииранской риторики, как это было, например, в конце весны — начале лета 2019 г. Однако, по мнению автора, идея «шиитской дуги» содержит ряд фундаментальных аналитических ошибок — на уровне допущений (теоретических посылок) и собственно логики умозаключений. В статье показано, что диалектический метод, который просматривается за стратегическими обобщениями и сценариями, заложенными в данной концепции, не может быть корректно приложен к ближневосточным процессам. С одной стороны, он чреват искусственным и потому опасным перенесением на региональные реалии чуждой политической культуры и основанной на ней оценочной системы координат. В частности, автор отмечает, что ближневосточные цивилизационные антиномии с трудом поддаются оценкам в категориях, разработанных в рамках западной политической мысли, поскольку носят контрарный, а не контрдикторный характер. Игнорирование этого обстоятельства ведет к искусственной эскалации региональных противоречий, про-

* *Сарабьев Алексей Викторович* — кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН (e-mail: alsaraby@ivran.ru).

** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01614 «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз».

воцированию конфликтов. С другой стороны, этому способствует и заложенная в данном подходе тенденция к проведению новых, совершенно умозрительных по своей природе разделительных линий в регионе. В итоге автор заключает, что концепция «шиитской дуги» изначально строится на ошибочных теоретических основаниях и потому как научный термин является совершенно несостоятельной. В то же время автор отмечает, что в современных международных реалиях она оказалась очень востребованным пропагандистским конструктом, парадоксальным образом удобным как для Ирана, так и для его оппонентов. Как таковая концепция «шиитской дуги» выступает идеологическим обоснованием нового витка военно-политической конфронтации в регионе, которая грозит принести народам Ближнего Востока новые страдания.

Ключевые слова: Ближний Восток, «шиитский полумесяц», «шиитская дуга», суннито-шиитские противоречия, региональные конфликты, внешнее вмешательство, пропаганда, диалектический метод, Иран, Ирак, Сирия, Ливан, «Хизбалла».

В настоящее время ведущие векторы мировой политики по-прежнему сходятся на Ближнем и Среднем Востоке. Сосредоточенность политиков и политологов на выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, продолжающиеся боестолкновения на территории Сирии, обусловленные конфликтом интересов многих сторон, возобновление активности «Братьев-мусульман» в Северной Африке и на Ближнем Востоке — всё это выводит на широкие обобщения о характере нынешних суннито-шиитских отношений. Актуальность более детального рассмотрения подходов к данной проблеме повышается в соответствии с градусом напряженности в районе Персидского и Оманского заливов, где после майских провокаций очередная атака на танкеры 14 июня 2019 г. вызывает ощущение готвящейся войны с Ираном (как реакции на его провокацию¹). Сбитый иранцами над Ормузским проливом спустя всего неделю дорогой американский беспилотник-разведчик всерьез грозил ответным ударом по объектам в Иране. Однако президент Д. Трамп решил растянуть взрывоопасную

¹ Азизи Х. От провокации к конфронтации: почему США обвиняют Иран в танкерных атаках? // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 21.06.2019. Доступ: <http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/ot-provokatsii-k-konfrontatsii-ssha-iran> (дата обращения: 21.06.2019).

ситуацию во времени, видимо, чтобы эффект от военно-политического шантажа был максимально ощутимым².

В этой связи имеет смысл вернуться к идее пестуемого Ираном альянса своих сторонников, проект которого еще в 2004 г. был назван иорданским королем Абдаллой II «шиитским полу-месяцем», или «шиитской дугой»³, и который стал синонимом однозначно враждебной проиранской коалиции.

Эта идеологическая конструкция стала очень популярной при обсуждении опасности, исходящей от шиитского Ирана, который издавна ставил своей задачей «экспорт исламской революции» (очевидно, шиитской) по всему макрорегиону. Опорой режима провозглашалась специальная силовая структура — Корпус стражей исламской революции (КСИР), а ее особый отдел Кудс (перс. — Сепак-е Кодс) действует за пределами ИРИ. Верховный аятолла, рахбар Ирана Рухолла Хомейни (1979—1989) в свое время признавал: «Святой Корпус стражей исламской революции поистине является и будет являться величайшим оплотом божественных ценностей нашего режима»⁴.

Для смещения суннито-шитского баланса в регионе переломным моментом стала интервенция в Ирак, фактически открывшая иранцам долгожданный канал для экспорта политического шиизма в арабские страны. После американского вторжения и отстранения от власти Саддама Хусейна в 2003 г. политический расклад сил в Ираке сильно сдвинулся в сторону шиитов, и закономерно, что «в соседних странах Персидского залива резко возросли опасения по поводу расширения иранских конфессиональных и региональных амбиций» [Ostovar, 2016: 7; Мелкумян, 2018: 93].

Невероятная скорость усиления арабов-шиитов — фактически экспансии шиитского доминирования — привела, в частности,

²Сразу вспоминается известная работа 1991 г. Жана Бодрийяра, первая глава которой называлась «Войны в Заливе не будет», где он писал: «Эта невозможность перехода к действию, это отсутствие стратегии ведут к триумфу шантажа как стратегии (со стороны Ирана еще определенный вызов, Саддам применяет уже только шантаж). <...> Бунт наемника — единственная ироничная и забавная черта всей этой истории» [Бодрийяр, 2016: 16–17].

³Шиитский полумесяц // Военное обозрение. 06.01.2014. Доступ: <https://topwar.ru/38063-shiitskiy-polumesyac.html> (дата обращения: 21.06.2019).

⁴Изречения великого вождя исламской революции, его светлости имама Хомейни. Тегеран: Изд-во произведений имама Хомейни, международный отдел, 1995. С. 161.

к маргинализации суннитов, находившихся у власти в Ираке, и опасениям суннитского населения в Сирии и Ливане перед лицом «шиитизации». Как пишет востоковед Константин Труевцев, «шиитская “реконкиста”, затронувшая не только районы южнее Багдада, но и саму столицу, несла потенциальную угрозу суннитской общине Ирака как таковой. Об этом свидетельствовали не только действия Н. аль-Малики, ограничивавшие роль суннитов в политическом пространстве, но и удары, наносившиеся по суннитским племенам в провинции Аль-Анбар» [Труевцев, 2015: 108–109]. Многие считают, что экстремистские и террористические суннитские структуры умело воспользовались недовольством иракских и других суннитов для рекрутирования их в свои ряды. Эти организации предстали в глазах суннитских групп, резко оттесненных от первостепенного политического участия и от властных структур в Ираке, тактически выгодным вариантом противостояния набиравшей силу «шиитской дуге» [Kardaş, 2018: 37].

В Сирии критика в адрес властей со стороны собственного населения сосредоточена на сходном моменте — излишнем покровительстве пришлым шиитам и допуске коррупционных схем, когда шииты-иностранцы скупают земли вблизи значимых для себя мест в стране⁵. В то же время непосредственно иранцы продолжают оказывать неприемлемое для многих в Сирии влияние на военную повестку и провоцируют израильские удары по сирийским объектам⁶. Сирийские сунниты обеспокоены попытками, на их взгляд, сдвига конфессионального баланса в стране при помощи Ирана, особенно на фоне того, что суннитское население более всего уменьшилось в результате оттока беженцев и эмиграции. Они осознают, что в пострадавшей от конфликтов Сирии еще не скоро будут созданы нормальные условия для возврата беженцев, чем теоретически могут воспользоваться переселенцы-шииты, опираясь на иранский идеологический экспансионизм. Так, К.М. Труевцев находит вполне закономерным,

⁵ Очевидцы сообщают о целых улицах в центре Дамаска, которые заселяют пришедшие шииты, однако публичное обсуждение этого явления, мягко говоря, не поощряется властями. Известно также о постепенном заселении шиитами-двунадесятьниками района, примыкающего к священному для них месту Сеййидат Зейнаб близ Дамаска.

⁶ Интересная справка о шиитских вооруженных группах, воевавших в Сирии: Шиитский интернационал Асада. Кто воюет в Сирии? // Военное обозрение. 11.09.2018. Доступ: <https://topwar.ru/146804-shiitskij-internacional-asada-kto-vojuet-v-sirii-krome-irancev.html> (дата обращения: 21.06.2019).

что подобные опасения сирийцев-суннитов трансформировались и подогревали их конфессиональную внутрисирийскую повестку: «Лозунг “власть суннитскому большинству” логически привел к тому, что с самого начала 2012 г. вооруженная оппозиция стала принимать исламистскую окраску» [Труевцев, 2018b: 244].

Описанные элементы общей региональной картины несколько не оправдывают ни попыток Ирана в сложнейший для региона период распространить свое влияние на районы Шама, обеспечив себе надежный оплот в Восточном Средиземноморье, ни усилий сторонников безусловной суннитской власти на Ближнем Востоке по закреплению за собой первенства любыми средствами, ни привлечения мощных лоббистских структур за пределами региона для усиления санкционного давления и военных угроз со стороны союзников Израиля, окружение которого неизменно характеризуется внутри страны как враждебное. В борьбе за региональное лидерство с использованием религиозного аргумента на кону стоит безопасность Ближнего Востока — людей, его населяющих, и сложившихся общественных отношений. Казалось бы, местные противоборствующие силы должны понимать это в гораздо большей степени, нежели внешние акторы, подогревающие конфликт в своих интересах. Однако, как будет показано далее, в погоне за конъюнктурными целями и региональные, и внерегиональные игроки продолжают весьма безответственно использовать для решения своих внешнеполитических задач концепции типа «шиитской дуги», которые несут в себе потенциал дальнейшей неконтролируемой хаотизации региона. Фундаментальная проблема, заложенная в подобных теоретических конструктах и не до конца отрефлексированная до настоящего времени, заключается в том, что они изначально строятся на ошибочных допущениях и неверных логических предпосылках.

Логические ошибки, ложные допущения, стратегические просчеты (постановка проблемы)

Может сложиться впечатление, что в действиях основных игроков на Ближнем и Среднем Востоке прослеживается мало логики, и есть подозрения, что долгосрочная стратегия, а тем более сколько-нибудь ясная цель просто отсутствуют. Попытки выстроить закономерность динамики изменения стратегий нередко заводят в тупик или подталкивают к ошибочным обобщениям. В трактовке большинства аналитиков, поддерживающих

возможность силового вмешательства для блага самих же стран региона, эти попытки зачастую оказываются малообоснованными, неполными, а главное — указывают в качестве первопричин на явления-следствия. Ошибочные построения во многом обуславливают колебания курса проводимой в регионе политики и периодический возврат к, казалось бы, давно отработанным и ушедшим в прошлое геополитическим дискурсивным практикам.

Одна из таких ошибок — продолжение логики упрощения ситуации до бинарных оппозиций наподобие «шииты против суннитов», особенно когда первые подаются как консолидированная сила под руководством Ирана, а вторых представляют суннитские экстремисты-халифатисты. Так, встречаются мнения, что борьба с «ИГ»⁷ заключалась в «удушении» этой структуры силами «шиитского полумесяца» («альянс Ирана, Багдада, Асада и “Хизбаллы”»), который объявлялся «единственной силой, способной эффективно сдерживать и в конце концов уничтожить “ИГ”» [Stockman, 2016: 333, 335].

Иранские авторы при этом отвергают какие-либо обвинения в экспансионистском характере внешнеполитического курса своей страны, заявляя о необходимости диалога с арабскими государствами и взаимовыгодных совместных проектах. Эти заявления, впрочем, мало соотносятся с действительностью, особенно на фоне большого числа боевых организаций в арабских странах, союзных Ирану или действующих абсолютно согласованно с его руководством. Да и сами иранцы проговариваются, что избегание прямых столкновений с арабами в чем бы то ни было стало основной тактической линией иранской экспансии: «...любые споры Ирана с соседними странами окажутся серьезным препятствием на пути признания его превосходства в регионе» [Ва‘эз, 2019].

Не отличаются тонкостью и мнения израильских аналитиков, которые явно пытаются поддерживать на экспертном уровне американскую политику на Ближнем и Среднем Востоке. Так, раздаются заявления, что в настоящее время Иран «возрождает “шиитский полумесяц”» под своим контролем, надеясь продолжить «спланировать Тегеран, Багдад, Дамаск и Бейрут». Якобы Иран «воспользовался выходом США из Ирака в 2010 г. и началом

⁷ «Исламское государство» (до 29 июня 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», «ИГИЛ») — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. — *Прим. ред.*

сирийской гражданской войны год спустя, чтобы установить этот «шиитский полумесяц» [Frisch, 2017: 1]. Неловкие обобщения такого рода вызывают вопросы. Разве идея «шиитской дуги» восходит к 2010 г.? Действительно ли в 2010 г. американцы ушли из Ирака? Неужели только присутствие в регионе американского контингента и стабильность в Сирии прежде сдерживали иранцев от идеологической, стратегической и военной «экспансии»?

Другие оценки предполагают в центре иранской внешнеполитической повестки борьбу с Израилем, для чего «шиитская дуга» якобы и создается: Иран желает «закрепиться в Сирии, прежде всего против Израиля; быть ближе к своему ливанскому союзнику, тем самым укрепляя “шиитский полумесяц” под своим руководством; и сохранить своего сторонника, Асада, у власти» [Yellinek, 2018: 2]. Но даже если допустить такой «израиленцентричный» подход к оценке ситуации, то как же в таком случае может вписаться в «полумесяц» Ирак, который по-прежнему очень далек от сближения с сирийским руководством? И как быть с нейтральной линией официального Бейрута, где влияние сторонников Ирана, очевидно, и дальше будет компенсироваться недружественными ему силами?

Еще один израильский эксперт (работающий, как и процитированный ранее автор, в Центре стратегических исследований Бегина—Садата) и вовсе добавлял к цепи стран «шиитского полумесяца» Йемен, не поясняя, каким образом эта южноаравийская страна, которую от Персидского залива отделяют тысячи километров, в том числе бесплодная пустыня Руб-эль-Хали, может быть частью «шиитской дуги» [Itzhakov, 2018: 3]. Даже территориальная непрерывность сухопутного коридора от Ирана до Средиземного моря, о котором рассуждает автор, явно нарушается районами, где жители едва ли в обозримом будущем станут лояльными к «теократическому режиму» Ирана. Что же касается Йемена, то в конфессиональном плане зейдитское население северной части этой страны слишком отличается от иснаашаритского толка иранских шиитов, чтобы говорить о религиозном единстве, тогда как на юге и вовсе живут сунниты-шафииты, тяготеющие к ОАЭ, а никак не к Ирану.

Примеры нелогичности аналитиков можно продолжать. Однако остается вопрос, что скрывается за спорными обобщениями и каковы последствия политики, построенной на таких шатких основаниях. Если оставить в стороне пропагандистские мотивы

«бинарного» политического дискурса, то в центре внимания оказывается проблема поиска логических ошибок, которые могут уводить исследователя в сторону.

Западная диалектика и восточная действительность (гипотеза)

Реалии традиционных восточных обществ предполагают множественность, причем не исключающую, т.е. даже если имеются противоречия, они, как правило, сосуществуют — по принципу антиномий (конъюнкции противоречивых черт), а в крайнем случае — нестрогой дизъюнкции (*или/или*, но не *либо только / либо только*). Условно говоря, западный подход носит более направленный характер: в идеализированном представлении он ориентирован на стимулирование динамического равновесия противоположностей к переходу на следующий уровень развития ситуации (модернизацию) — конечно, через конфликтную стадию (как писал К. Маркс: «Насилие является повивальной бабкой всякого старого общества, когда оно беременно новым. Само насилие есть экономическая потенция» [Маркс, 1978: 695]). Тем самым искреннее стремление ускорить модернизацию «отсталых», архаичных обществ, по такой логике, ведет их к неизбежному конфликту, в своей теоретической части очень напоминающему диалектический.

Сложные ближневосточные общества — с их пестрым профессиональным составом и множеством этносов — заключают внутри себя, безусловно, клубок противоречий. Тем не менее эта потенциальная конфликтогенность не достигает уровня перерастания собственно в конфликт под действием повода-триггера. Это подтверждают долгие периоды достаточно ровных социальных отношений и общественной безопасности, вполне сравнимые, например, с историческим развитием ряда европейских стран. Наблюдаемая ныне конфликтность ближневосточных социумов обусловлена в основе своей исключительно внешним воздействием, многократно выводившим систему из равновесного состояния.

В этом отношении можно выделить два аспекта конфликтогенности, и оба они связаны с наложением на процессы в регионе чуждой для его политической культуры и социальных отношений оценочной системы координат. Первый аспект заключается в упомянутом представлении о бинарных оппозициях, а второй — в неверном подходе к выделению частей целого.

В первом аспекте ошибка в теоретических оценках коренится в приписывании противоположным взглядам контрадикторного характера, тогда как им свойственна контрарность. Иными словами, суждения рассматриваются как исключительно противоположные: когда одно из них истинно, другое оказывается неизбежно ложным, и третьего быть не может. Вместе с тем в действительности не обязательно ложным является лишь одно из двух противоположных суждений: неверными могут быть оба (контрарные отношения). Сказанное касается внешних оценок, на которых и выстраиваются стратегии воздействия (например, санкции, прокси-действия или прямое военное вмешательство).

Ближневосточные цивилизационные антиномии вообще с трудом поддаются оценкам в категориях формальной логики и даже диалектики. Известные противоречия, изначально присущие сложным обществам Ближнего и Среднего Востока, подчиняются скорее законам, открытым в логике и естественных науках около столетия назад (как пример — принцип неопределенности В. Гейзенберга и логический анализ Б. Рассела). Тем самым архаика и необходимость обновления обнаруживаются не в объекте приложения усилий (ближневосточных обществах), а в инструментарии самих модернизаторов (концептуальном и информационном сопровождении военно-политических машин внешних сил).

Во втором аспекте выделяются «новые целые» (например, «шиитская дуга» и «суннитский зонт»), частями которых объявляются элементы, составлявшие «прежние целые» («национальные государства»). На это указывали, в частности, авторы доклада по Ираку, в котором идентичность иракских шиитов, суннитов и отдельно курдов определялась далеко не по принципу гражданства⁸, а по религиозному и национальному соответственно [Kuoti, Wirya, 2018: 4].

Есть и масса других примеров, но особенно показательно другое: анализ сквозь призму неких трансграничных общностей подается как адекватное отражение новых реалий жизни региона. Девальвация идеи «нации-государства» давно запущен-

⁸Тут очевидно проявление модного теперь теоретизирования в стиле деконструкции гражданственности восточных обществ в пользу перекрывающих границы идентичностей. Между тем всего лишь около десятилетия назад известный политолог Сергей Кортунов писал о критической необходимости построения гражданского общества и в этой связи утверждал, что «среди наиболее естественных типов гражданских общественных структур следует различать два — муниципальный тип и религиозное сообщество» [Кортунов, 2011: 433].

на, и политологи, в том числе отечественные, подхватили этот тренд. В частности, угрозами привычному типу государственно-общественного устройства объявлены наднациональные экстремистские структуры, а также фрагментация социумов по кланово-племенным и конфессиональным линиям⁹. Однако во всех перечисленных угрозах нет новизны.

Острые кланово-племенные противоречия, проявлявшиеся то тут, то там, были свойственны арабским обществам во все исторические периоды, а конфессиональный аспект как перво-степенный в социальных конфликтах вообще имеет давнюю историю (яркие примеры — маронитско- друзские столкновения в 40-х годах XIX в., «дамасская резня» христиан в 1860 г., обострение мусульманско-христианских отношений в сирийских районах после Младотурецкой революции (1908) и в период Итало-турецкой и Балканских войн; только в истории Ливана яркую конфессиональную окраску носили гражданские войны 1958 и 1975—1989 гг.). Что же касается наднациональных исламистских структур, то угрозу с их стороны с тревогой отмечали еще с первого десятилетия XX в., причем транснациональным характером обладали структуры далеко не только суннитские, но и шиитские [Беренкова, 2018].

Если с 1980-х годов под «воображаемыми общностями» понимали национальные единства [Андерсон, 2001: 29], то это укладывалось в канву начального этапа глобализационного проекта [Труевцев, 2010], когда считалось, что спланированные нацию факторы (общность истории и языка, религиозная культура и традиции и т.д.) с неизбежностью будут размываться в ходе глобальной культурной и экономической унификации. Нынешнее инструментальное наложение на карту макрорегиона «новых целых» (религиозных, национальных общностей) поверх установившихся государственных границ можно расценить как очередную попытку концептуализировать логику развития ближневосточных обществ — и снова предполагающую далеко не бесконфликтную трансформацию.

⁹ Например, автор главы о нациях-государствах в монографии 2018 г. о ближневосточных трансформациях утверждает: «Фрагментация наций-государств носит многоуровневый характер и сопровождается глубокой эрозией всей региональной системы безопасности», тогда как борьба элит за доступ к ресурсам и вооруженные столкновения между племенами «вписались в процесс многоуровневой фрагментации <...>. Она дискредитирует и подрывает систему наций-государств в регионе в целом» [Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018: 98, 115].

Геополитические амбиции, региональные интересы и народ (аргументы)

Накал борьбы ведущих держав за глобальную гегемонию не понизился после объявленной «коллективным Западом» победы в «холодной войне». Ближний Восток так и не перестал быть ареной этой борьбы, и геополитические амбиции продолжают отражаться на нем самым трагическим образом. К этому добавляются жизненные интересы региональных игроков, которые отстаиваются с упорством и политической ловкостью и с активным привлечением тех или иных идеологических конструктов. В результате разыгрывающихся на ближневосточной доске партий — по причине резкой поляризации общественных отношений или даже вооруженных столкновений — целые общины остаются лишенными человеческих условий существования, на положении изгоев или как минимум ущемленными в правах политического участия.

Именно деструктивное внешнее воздействие, не учитывающее традиций сосуществования общин по принципу антиномий, провоцирует радикализацию групп населения, вынужденных искать способы защиты, в том числе примыкая к одному из сильных региональных игроков, претендующих на лидерство. Поиск защиты, вынужденный выбор стороны конфликта, самоидентификация в возникающей вдруг дилемме «мы/они» [Косач, 2010: 309, 311] становятся ключевыми в условиях постоянных действий извне: экономических санкций, блокад, карающих военных ударов, прямой оккупации (Ирак с 2003 г.), самовольных боевых действий на территориях государств региона (американские армейские подразделения и частные военные компании, борьба турецкой армии против курдов в Сирии). Запущенный извне процесс социальной поляризации неизбежно подогревает экстремистский настрой части населения, заставляя остальных делать тяжелый выбор.

Ярким примером может служить поведение различных политических акторов, относимых к «шиитской дуге», которые выбирают определенный региональный полюс, исходя из собственной повестки (отнюдь не иранской). Показательно, что даже израильский автор оценивал усиление «Хизбаллы» в 2000-е годы во многом как следствие оккупации Израилем Ливана в 1982 г. и сохранявшегося военного присутствия на юге страны вплоть до

конца столетия: это обстоятельство провоцировало легитимацию Соппротивления, которое в Ливане составили шииты, — легитимацию (включая автономный характер «Хизбаллы» и ее право на обладание оружием) в глазах не только ливанских властей, но и большинства конфессиональных общин. Фактическое признание государством этой структуры, по мысли автора, привело к тому, что с определенным влиянием Ирана на политический курс властей (через ливанских шиитов) смирились даже ярые противники Исламской Республики в Ливане [Miller, 2018: 2].

Внешнее вмешательство тем самым запустило развитие ситуации в регионе по траектории, заданной в соответствии с теоретическими и геополитическими концепциями внерегиональных акторов. Искусственное выделение полюсов силы, проведение разделительных линий по конфессиональным и национально-историческим признакам стали первыми следствиями опоры на ошибочные, априорные логические построения. Этим же объясняется популярность исламизма в разных его изводах. Российский историк Владимир Орлов прямо указывает, что «глобальный “исламский проект” и его социальные идеалы пришлось арабскому массовому сознанию впору в период, когда во многих странах обрушились другие (во многом Европой же порожденные) социальные идеалы» [Орлов, 2011: 414].

При этом местные игроки подхватывают навязываемые им линии разделения, используя их для удовлетворения амбиций своих правящих или продуцирующих идеологию кругов, в том числе религиозно или националистически ангажированных.

Большинство арабских правящих домов находят очень удобной схему жесткого регионального суннитско-шиитского деления, поскольку она позволяет скрыть, замаскировать истинные противоречия между странами Ближнего Востока. Религиозный призыв используется при этом всеми сторонами, в чем кроется немало парадоксов. В частности, лидером «суннитского зонта» региона чувствует себя Саудовская Аравия, где официальным учением признается ваххабизм, практически неприемлемый для остальных мусульманских стран.

Европейские исследователи приводят свидетельства, что концепция «шиитского полумесяца» использовалась в качестве довода в политическом торге курдов и саудовцев. Так, якобы Масуд Барзани связывался с наследным саудовским принцем Мухаммадом бин Салманом, чтобы напомнить тому о давних

взаимоотношениях их семей, о неких соглашениях и прямой заинтересованности Эр-Рияда в предотвращении «шиитской исторической мечты о полумесяце веры и мощи, простирающемся от Ливана до Бахрейна, через Киркук, Мосул и Дамаск» [Lévy, 2019: 84]. Иными словами, курдский лидер пытался привлекать ресурсы саудовцев для решения своих проблем на иракском политическом поле. При этом он использовал мотивы религиозного противостояния в регионе, играя на амбициях саудовского наследного принца [Косач, 2019: 61].

Словно стараясь не упустить свой исторический шанс, предоставленный им американской оккупацией, религиозное разделение провоцируют и шиитские богословы в Ираке, получившие религиозное образование в Иране и, вероятнее всего, опирающиеся на иранскую поддержку. Под предлогом неэффективности иракской армии и сил безопасности для отражения атак джихадистов-халифатистов высший шиитский авторитет в Ираке, аятолла Али аль-Систани, 12 июня 2014 г. объявил фетву с призывом ко всем шиитам и вообще иракцам объединиться в борьбе с «ИГИЛ». Было сформировано шиитское «Народное ополчение» («Аль-хашд аш-шааби»), куда выразили готовность включиться более 40 разных вооруженных формирований, действовавших уже на протяжении десятилетия (всего около 90 тыс. человек). В «Аль-хашд аш-шааби» вошли такие крупные группы, как «Муназзамат Бадр» («Организация Бадра») и «Катаиб Хизбалла» («Батальоны Хизбаллы»), а также другие сильные формирования: «Асаиб ахл аль-хакк» («Отряды праведников»), «Сарая ас-салам» («Бригады мира») и др. (общая численность оценивалась от 10 до 25 тыс. бойцов) [Duman, Sönmez, 2018: 174–175].

Что касается самого Ирана, то его амбиции простираются далеко за пределы шиизма. В пользу этого тезиса говорит то, что если бы главнейшей ценностью иранцев был именно шиизм, то следовало бы ожидать углубления изоляции страны в соответствии с психологией «осажденной крепости». Однако некоторые видные иранские аятоллы, напротив, призывают к широкому объединительному движению во главе с Ираном¹⁰. В качестве примера можно привести «Движение по сближению мазхабов» аятоллы Тасхири, которое ставит целью миротворческие усилия

¹⁰ Они действуют в том числе и в России, причем к сотрудничеству активно привлекают далеко не только наших суннитов-ханафитов и суфиев, но и Русскую православную церковь.

по устранению преград между приверженцами разных суннитских мазхабов под эгидой шиитского Ирана. Складывается впечатление, что иранцам дорого не столько торжество шиитского ислама, сколько возрождение и укрепление персидской мощи в регионе.

Эту мысль проводят и европейские исследователи. В частности, французский политолог Венсан Дуа убежден, что Иран создает альянсы не в пользу шиизма, а в первую очередь в соответствии со своими национальными интересами. Кроме того, ученый справедливо заключает, что по-настоящему ключевой стала опора на арабские шиитские общины в деле воплощения той доктрины экспансии, которая была сформирована идеологами Исламской революции¹¹. Во многом именно это и обусловило усиление конфессионального компонента внешней политики Ирана, что углубило суннито-шиитские противоречия в регионе в целом.

Как объясняют феномен «шиитского полумесяца» сами иранцы? Обратимся к идеям известного иранского политолога Кайхана Барзегара, бывшего участника многих международных форумов, в том числе в Москве. Еще десять лет назад он отрицал экспансионистский характер политики ИРИ, называя ее оборонительной в том смысле, что это ответ на американскую оккупацию соседней страны. В работе 2008 г., написанной еще до арабской «волны турбулентности», выведшей на первый план арабских исламистов суннитского толка, он заявлял, в частности, что «угрозы безопасности, возникшие после прибытия американских войск в регион», вынудили Иран «заключать союз с дружественными шиитскими правительствами» (арабскими) [Barzegar, 2008: 88].

К. Барзегар считает, что разговоры о возникающей угрозе региону со стороны «шиитского полумесяца» ведут заинтересованные в ограничении роли Ирана круги на Западе и среди арабских суннитских элит. Последние при этом на самом деле обеспокоены главным образом ослаблением авторитета их власти, растущими политическими требованиями шиитского населения их собственных стран, а также вообще укреплением позиций Ирана в арабском мире. Старые суннитские элиты будто бы

¹¹ Doix V. Le facteur chiite dans la politique étrangère de l'Iran // Diploweb (La revue géopolitique). 04.04.2017. Available at: <https://www.diploweb.com/Le-facteur-chiite-dans-la-politique-etrangere-de-l-Iran.html> (accessed: 15.06.2019).

опасаются, что в ходе дальнейших социально-политических сдвигов, начало которым положил приход к власти шиитов в арабском государстве, могут произойти аналогичные события в масштабах всего «шиитского полумесяца». К. Барзегар подчеркивает значение шиитских протестов в политической жизни Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Кувейта, Бахрейна и Ливана [Barzegar, 2008: 88].

Иранский политолог, на наш взгляд, справедливо заключает, что сама «идея появления “шиитского полумесяца” на уровне народных масс может быть поставлена под сомнение», поскольку в странах Ближнего Востока именно фактор национальной идентичности, а не религии или идеологии, по-прежнему является главной солидаризирующей силой (иракские шииты, ливанцы и сирийцы — сначала арабы, а только потом шииты, тогда как иранские шииты — прежде всего персы). По мнению эксперта, «хотя идеология действительно составляет значительную часть мировоззрения Исламской Республики, существует ряд фактов, показывающих, что ее действия мотивированы прежде всего прагматическими соображениями» [Barzegar, 2008: 91]. Именно общий враг (К. Барзегар упоминает на тот момент только Соединенные Штаты и Израиль) стал объединяющим фактором для Ирана и Сирии, а не религиозно-культурная общность: «Шиитская культура не оказала существенного влияния на близость двух правительств, но общая враждебность якобы светского руководства суннитских арабских стран укрепила их религиозные связи. Фактически полагаться друг на друга в борьбе с угрозами в критические моменты было важно для обеих конфессий» [Barzegar, 2008: 93]. После разгула исламистского экстремизма и терроризма в Ираке и Леванте у Ирана стало во много раз больше оснований для выстраивания двусторонних альянсов с арабскими государствами. Но правомерно ли действительно объединять их в единую «дугу»?

В этом ключе обращает на себя внимание разность позиций Ирана, Ирака, Сирии и Ливана по сирийской проблематике, которая выражалась, в частности, при голосовании на сессиях Генассамблеи ООН. Иран, как правило, резко возражал против проектов резолюций, как и сирийские представители, а Ливан воздерживался, не желая становиться ни на одну сторону конфликта. Российская исследовательница Ольга Чикризова особенно подчеркивала тот факт, что вопреки логике якобы

выстраиваемого «шиитского полумесяца» Ирак, возглавляемый прошиитским руководством, в ГА ООН голосовал в пользу резолюций, осуждавших действия сирийского правительства [Чикризова, 2015: 80]¹². Этот факт дает еще одно основание сомневаться в стройности и последовательности приписываемой Ирану стратегии «шиитской дуги», ведь Ираку отводится в ней ключевая роль, но Багдад, тем не менее, защищает в первую очередь собственные интересы, хотя шииты сейчас сильны там как никогда. И наоборот, Сирия, где в силовом аппарате и руководстве страны ведущее положение занимают отнюдь не шииты-двунадесятники (как в Иране), а доля населения, исповедующего шиизм иснашаритского толка, крайне мала [Труевцев, 2018а: 228], солидаризируется с Тегераном по большинству вопросов.

Иными словами, мы не обнаруживаем неких «новых целых» — монолитных конфессиональных общностей или стратегических блоков, которые бы накладывались на прежнюю карту Ближнего и Среднего Востока поверх границ, меняя их очертания в ходе неумолимого наступления новой действительности. Никакой новой действительности не просматривается, а справедливо подчеркнутая фрагментация обществ является, похоже, трагическим обстоятельством и продуктом принудительной реализации различных чужеродных проектов модернизации региона.

Обновление, впрочем, могло наступить: народные протесты в ближневосточных странах против социальной несправедливости и перекосов социально-экономических курсов их правительств имели все шансы вызвать глубокие реформы в арабских государствах с республиканским правлением. Однако «оседлание» протестной волны силами, реализующими собственные интересы и амбиции (в том числе религиозными наднациональными структурами типа «Братьев-мусульман»), увели в сторону от начальной цели.

¹² В ее работе приводится интересная таблица голосований по резолюциям ГА ООН № 176, 253а, 253в, 183, 262, 182. Из таблицы видно, что эти резолюции поддерживали большинство североафриканских стран, все государства Залива, а также Турция и Афганистан. Любопытно, что во всех перечисленных странах очень сильны позиции ислама, а среди населения высока симпатия к радикальному исламизму. Что же касается Турции, то известный российский турколог Николай Киреев считает важнейшей проблемой страны (по состоянию на 2014 г.) то, что в ней «действует система “двоевластия”, представляющая собой противоречивый и взаимозависимый “альянс” двух конкурирующих между собою школ исламизма» [Киреев, 2014: 150].

Цена аналитической ошибки — война (выводы)

Предложенная гипотеза выглядит, быть может, излишне схоластически, но недостаток теоретизирования при анализе геополитики и ближневосточных реалий невозможно восполнить обилием рассмотренных фактов, поиском их причин и кратко-срочным прогнозированием. Представляется, что необходимо восходить к более общим историческим и даже философским обобщениям. Сам феномен успеха исламизма нуждается в глубоком осмыслении, тем более что диалектическую основу представлений о нем усматривают многие внимательные ученые. «Успех в формулировании адекватного “ответа” исламоведения на интеллектуальный “вызов” исламизма зависит от точности восприятия самого этого явления. Ведь, по сути, при рассмотрении феномена политического ислама мы имеем дело с диалектикой истории» [Орлов, 2011: 414].

Попутно заметим: способ действия Соединенных Штатов на ближневосточной арене, заставляющий подозревать, что они руководствуются законами диалектики, может, конечно, быть связан с сохраняющейся популярностью там идей троцкизма и предшествовавших ему концепций. Однако далеко не это, на наш взгляд, служит основанием ошибочного приложения американцами диалектических методов к историческим и социальным процессам на Ближнем Востоке. Более вероятно, что стратегия Запада в регионе совершает откат, архаизируется — вместе со снижающимся качеством политики и дипломатии в целом. Этим обусловлен и наблюдаемый переход от тонкого некогда понимания Востока (особенно британцами и французами), помогавшего умело манипулировать процессами [Сарабьев, 2016а, 2016б], к суждениям в русле упрощенной диалектики и огрубленным схемам формальной логики.

Впрочем, упрощение стратегии воздействия не уменьшает внутренней конфликтогенности региона, а, напротив, повышая фрагментацию, усиливает хаос, подпитывая при этом иллюзию его управляемости.

На основании изложенного можно предложить следующие выводы относительно как методологии исследуемой проблематики, так и оценок некоторых конкретных политических феноменов в масштабе региона.

1. «Шиитская дуга», или «полумесяц», является идеологическим конструктом, подхваченным как в среде политических аналитиков, так и, увы, в некоторых политически активных

(или ангажированных?) кругах на местах. Угроза, исходящая от Ирана, очень ощутима для арабов-суннитов, и они наблюдают тревожные для себя процессы в Ираке, Сирии и Ливане. Однако объединять эти события в якобы единую стратегию ИРИ не представляется возможным ввиду непреодолимо противоречивых факторов, к ним приводящих. Настойчивое и искусственное их отождествление может означать только «оформление противника» накануне планируемой войны.

2. Западный подход к нынешним событиям на Ближнем Востоке характеризуется пренебрежением антиномичностью отношений, при которых, казалось бы, противоположные черты субъектов или их связей традиционно уживаются вместе. Внешние усилия по «упорядочиванию», имея своей целью, видимо, модернизацию местных обществ, вносят чуждый и разрушительный для них элемент бинарности. Результатом является углубление фрагментации обществ, части которых ищут (опять же традиционно для региона) сильных покровителей или партнеров для тактических союзов — региональных лидеров или их сателлитов. Это ведет к локальным конфликтам и даже к угрозе большой войны.

3. Возникает впечатление глубокого разделения всего региона поверх государственных границ — в соответствии с новыми альянсами и блоками. Конфессионально близкие группы предстают частями этих «новых целых», которые перекрывают территории «наций-государств» (в рамках «шиитской дуги» к ним относят ливанских шиитов, алавитов, иракских шиитов, персов шиитов-иснаашаритов и даже зейдитов). Умозрительный характер таких конструкций налицо: объединяемые в их рамках элементы различаются не только религиозными культурами, но и собственными, далекими друг от друга социально-политическими повестками. Более того, эти идеи подогревают социальное разделение, становясь опасно самосбывающимися прогнозами, и в конечном итоге ведут к локальным войнам.

4. Представления о предполагаемых макроальянсах типа «шиитской дуги» заключают в себе явную инструментальность: они бывают очень удобны в политических практиках и дискурсе местных амбициозных лидеров арабских суннитских, арабских шиитских, персидских шиитских, курдских, христианских и других общин. Внешние силы также с готовностью используют такого рода идеологические конструкты для обоснования силовых и политических действий в своих интересах. Как правило, практикуемые сейчас прокси-действия предполагают войну (например, в Йемене).

Существует ли однозначный ответ? (Послесловие)

Итак, с виду стройные геостратегические конструкции типа «шиитской дуги» («полумесяца») оказываются далеко не бесспорными: кажущаяся логичность наталкивается на многофакторность и сложность происходящих в регионе процессов, разрушающих наспех выстроенные причинно-следственные связи. Нельзя сомневаться в амбициях, политической искушенности и, наконец, чувстве самосохранения иранцев. Однако и упрощенные схемы, основанные на поверхностном взгляде на «религиозную географию»¹³ региона, не только не способствуют пониманию интересов и политических замыслов игроков, но и затемняют представление о реальной расстановке сил, не говоря уже о чаяниях собственно народов, живущих в странах «полумесяца». Транслируемая в СМИ и даже аналитических работах идея о «шиитской дуге» напоминает риторическое обобщение, мало что дающее исследователю и не выдерживающее анализа его как серьезной концепции.

Впрочем, вероятнее всего, в этом заложена не ошибка, а своего рода метод: подтягивание всех средств, в том числе и такого рода построений, к решению в конечном счете задач по обеспечению интересов в регионе одних кругов за счет других (как элемент пропаганды). Так, шаг за шагом предпринимаются попытки «коррекции» извне внешнеполитических ориентиров иранского режима (при сохранении его особой формы государственного устройства). Для этого наряду с ужесточением санкционной политики принимаются меры по доведению ситуации до «вынужденности войны». Например, следующим шагом американцев после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану в 2018 г. стала идея «Стратегического альянса по Ближнему Востоку» (САБВ; англ. — MESA), куда должны были войти страны Залива, а также Египет и Иордания. Этот проект был провозглашен в конце 2018 г., а уже в январе эти государства посетил американский госсекретарь¹⁴. Страны арабского Машрика, а также неарабские соседи Ирана не увидели все же достаточных мотивов для объединения против шиитской угрозы. Тогда чере-

¹³ Такая дисциплина действительно активно разрабатывается, в том числе среди российских ученых. См., например: [Лобжанидзе и др., 2019].

¹⁴ Приймак А. Трамп отправил на Ближний Восток «апостола» из Госдепартамента // Независимая газета. 05.02.2019. Доступ: http://www.ng.ru/ng_religii/2019-02-05/12_458_gosdep.html (дата обращения: 21.06.2019).

да провокаций с танкерами в Персидском и Оманском заливах произвела должный эффект: были актуализированы опасения относительно агрессивной позиции Ирана и его сторонников в арабском мире. Замороженный было проект американо-арабского альянса был реанимирован. Уже в середине мая 2019 г. король Саудовской Аравии Салман призвал членов Лиги арабских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и даже Организации исламского сотрудничества принять участие в экстренных саммитах в Мекке по случаю эскалации иранской угрозы в регионе, что было задумано в целях еще большей изоляции Ирана и противопоставления ему приобретающего все более явные очертания военного блока MESA¹⁵.

На этом фоне едва ли возможно заставить Иран покинуть Сирию, и в этом трудно не согласиться с уважаемыми авторами аналитической записки Российского совета по международным делам, хотя и предлагаемые ими меры (добровольное ограничение иранцами своего присутствия, обязательство не использовать Сирию в качестве плацдарма для проведения операций против соседних стран или как учебного центра для подготовки радикальных военизированных формирований)¹⁶ тоже мало-осуществимы.

Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие, лежит, видимо, за пределами плоскости самой формулировки: «шиитская дуга» стала и фобией, и угрозой, однако и ни тем, ни другим одновременно. Этот заявленный феномен покоится на слишком неверных основаниях — как в плане посылок, так и самой логики, поэтому серьезного внимания как таковой не заслуживает. В том случае, когда это не описанная аналитическая ошибка, это одна из удачных пропагандистских схем, средство, парадоксальным образом удобное для обеих сторон. Для Ирана оно становится знаменем воплощения вековых персидских амбиций, а для его противников — главным аргументом их сдерживания. Пусть концепт и является виртуальным, но ведущиеся и готовящиеся

¹⁵ Американская удавка для шиитского полумесяца: политико-экономический фон // EADaily. 20.05.2019. Доступ: <https://eadaily.com/ru/news/2019/05/20/amerikanskaya-udavka-dlya-shiitskogo-polumesyaca-politiko-ekonomicheskiy-fon> (дата обращения: 16.06.2019).

¹⁶ Кортунов А.В., Дюкло М. Иран на Ближнем Востоке: часть проблемы или часть решения? // Российский совет по международным делам. 13.05.2019. Доступ: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iran-na-blizhnem-vostoke-chast-problemy-ili-chast-resheniya> (дата обращения: 19.06.2019).

военные действия вполне реальны. Следствием столкновения противоположных векторов силы снова грозят стать хаос и война. Значит, снова народы Ближнего Востока ожидает страдание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Наука, 2001.
2. Беренкова Н.А. Особенности шиитских транснациональных движений в арабских странах Ближнего Востока // Религия и общество на Востоке. Вып. II. М., 2018. С. 113–135.
3. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин; Ин-т востоковедения РАН. М.: ИВ РАН, 2018.
4. Бодрийяр Ж. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. М.: РИПОЛ классик, 2016.
5. Ва'эз Н. Влияние паломнических поездок на региональную политику Исламской Республики Иран и ее отношения с обновленным Ираком // Религия и общество на Востоке. Вып. IV. М., 2019 (в печати).
6. Киреев Н.Г. Политическая анатомия турецкой происламской Партии справедливости и развития // Государство, общество, международные отношения на мусульманском Востоке (Афганистан, Иран, Пакистан, Турция, этнический Курдистан, соседние мусульманские районы). М.: ИВ РАН, Крафт+, 2014. С. 150–168.
7. Картунов С.В. Россия в мировой политике после кризиса. М.: Красная звезда, 2011.
8. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: внутренние истоки терроризма // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 639–654.
9. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: поле конфронтации с террором // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 16: Арабский мир в русле текущей политики. М.: ИВ РАН, 2018. С. 104–139.
10. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: «религиозное государство» или «государственная религия» // Религия и общество на Востоке. Вып. I. М., 2017. С. 7–50.
11. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: трансформация власти и политики // Мировая экономика и международные отношения. 2019. № 4. С. 59–67.
12. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: Центр национального диалога в контексте «этапа реформ» // Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные тенденции. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2010. С. 303–324.
13. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий / 2-е изд. М.: Юрайт, 2019.
14. Маркс К. Капитал. Т. 1. М.: Политиздат, 1978.
15. Мелкумян Е.С. Власть и ислам в Кувейте: поле взаимодействия // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2018. № 2. С. 92–104.
16. Орлов В.В. Умеренные исламские партии на арабской политической сцене: пробы сил и оценки 2000-х годов // Исламский фактор в истории и современности. М.: Восточная литература, 2011. С. 409–421.

17. Сарабьев А.В. Игра на межконфессиональных противоречиях: «вольтова дуга» сквозь столетие. Ч. 1. Отзвуки «Сайкс–Пико» или наследие мандата? // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2016. № 3 (9). С. 208–218.

18. Сарабьев А.В. Игра на межконфессиональных противоречиях: «вольтова дуга» сквозь столетие. Ч. 2. Межконфессиональные отношения в свете возможных новых переустройств Ближнего Востока // Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2016. № 4 (10). С. 189–200.

19. Труевцев К.М. Ближневосточный узел как эпицентр противостояния современного панисламистского проекта и национальных государств // Нации и национализм на мусульманском Востоке. М.: ИВ РАН, 2015. С. 93–115.

20. Труевцев К.М. Глобализация и исламский мир: проблемы адаптации // Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные тенденции. М.: ИВ РАН, Крафт+, 2010. С. 244–266.

21. Труевцев К.М. Сирийский конфликт: конфессиональные лозунги и демографические последствия // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 16: Арабский мир в русле текущей политики. М.: ИВ РАН, 2018. С. 225–239.

22. Труевцев К.М. Этапы сирийского конфликта и перспективы исхода // Труды Института востоковедения РАН. Вып. 16: Арабский мир в русле текущей политики. М.: ИВ РАН, 2018. С. 240–262.

23. Чикризова О.С. К вопросу о методологии изучения суннито-шиитских взаимоотношений // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2015. Т. 15. № 3. С. 74–82.

24. Barzegar K. Iran and the Shiite Crescent: Myths and realities // The Brown Journal of World Affairs. 2008. Vol. 15. No. 1. P. 87–99.

25. Duman B., Sönmez G. An influential non-state armed actor in the Iraqi context: Al-Hashd Al-Shaabi and the implications of its rising influence // Non-state armed actors in the Middle East: Geopolitics, ideology, and strategy / Ed. by M. Yeşiltaş, T. Kardaş. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 169–187.

26. Frisch H. Trump's air strike on al-Tanf: No to the Shiite Crescent. BESA Center Perspectives Paper No. 483. June 1, 2017. Available at: <https://besacenter.org/perspectives-papers/syria-tanf-airstrike/> (accessed: 12.07.2019).

27. Itzhakov D. Iran's new anti-Israel resistance axis. BESA Center Perspectives Paper No. 747. 2018.

28. Kardaş Ş. The transformation of the regional order and non-state armed actors: Pathways to the empowerment // Non-state armed actors in the Middle East: Geopolitics, ideology, and strategy / Ed. by M. Yeşiltaş, T. Kardaş. London: Palgrave Macmillan, 2018. P. 21–42.

29. Kuoti Y., Wirya K. Post-crises prospects for reconciliation in Iraq: A Kurdish-Shi'ites debate in Najaf // MERI (Middle East Research Institute) Policy Brief. 2018. Vol. 4. No. 18.

30. Lévy B.-H. The empire and the five kings: America's abdication and the fate of the world. New York: Henry Holt and Company, 2019.

31. Miller B. How Iran became the dominant power in the Middle East. BESA Center Perspectives Paper. No. 706. 2018.

32. Ostovar A. Sectarian dilemmas in Iranian foreign policy: When strategy and identity politics collide. Carnegie Endowment for International Peace. 2016.

33. Pichon F. Syrie, une guerre pour rien. Paris: Les éditions du Cerf, 2017.

34. Stockman D.A. Trumped! A nation on the brink of ruin... And how to bring it back. Baltimore, MD: Laissez Faire Books, 2016.

35. Yellinek R. Who will reconstruct Syria? BESA Center Perspectives Paper No. 750. 2018.

A.V. Sarabiev

THE MIDDLE EAST SHIITE ARC: A REAL THREAT OR GEOPOLITICAL CHIMERA?

*Institute of Oriental Studies
12 Rozhdestvenka st., Moscow, 107031*

The term *Shiite Crescent*, or *Shiite Arc*, is becoming increasingly popular in political and academic discourse as well as in the media. It is used to indicate a threat allegedly posed by an alliance of states and forces dependent on Iran. However, there is no consensus on who the exact members of the alliance are. Since the basic criteria of membership in the alliance are the allegiance to Iran and the commitment to Shia Islam it can be expanded to include Iraq, Syria, Lebanese Hezbollah, and sometimes the Shiite forces of Bahrain and even Yemen. The relevance of this agenda peaks with the outbursts of anti-Iranian rhetoric as it was the case in the spring and early summer of 2019. Meanwhile, is the author emphasizes that the concept of the *Shiite Arc* contains a number of fundamental errors in terms of both methodological premises and the logic of reasoning. Particularly, the author argues that since this concept is based on a dialectic method it cannot be regarded as an appropriate tool for assessing or forecasting the development of the regional processes. On the one hand, the application of this method may entail artificial extrapolation of foreign political culture and assessment criteria in regional realities. For example, the author stresses that Middle Eastern civilizational antinomies can hardly be understood within the framework of the Western political thought as they represent contraries but not contradictions. Ignoring this fact leads to artificial fueling of regional conflicts and controversies. On the other hand, the dialectic method tends to create new, and speculative, fault lines in the region. The author concludes that from the outset the concept of *Shiite Arc* is founded on an erroneous theoretical ground and therefore is methodologically untenable. Meanwhile, the author stresses that in the current international conditions this concept turned out to be a popular propaganda construct paradoxically suitable to Iran, as well as to its opponents. The concept of the *Shiite Arc* appears to be an enabling ideology for a new stage of military and political confrontation which may cause more suffering to peoples of the Middle East.

Keywords: the Middle East, Shiite Crescent, Shiite Arc, Sunni-Shiite conflict, military regional conflicts, external intervention, propaganda, a dialectical method, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, Hezbollah.

About the author: *Aleksei V. Sarabiev* — PhD (History), Leading Research Fellow at the Center for Arab and Islamic Studies, Institute of Oriental Studies, the Russian Academy of Sciences (e-mail: alsaraby@ivran.ru).

Acknowledgements: The research has been accomplished with a financial support from the Russian Science Foundation, project № 17-18-01614.

REFERENCES

1. Anderson B. 1998. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. London, Verso, 2001 [Russ. ed.: Anderson B. 2001. *Vobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostraneniі natsionalizma*. Moscow, Nauka Publ.].
2. Berenkova N.A. 2018. Osobennosti shiitskikh transnatsional'nykh dvizhenii v arabskikh stranakh Blizhnego Vostoka [Features of Shiite transnational movements in the Arab countries of the Middle East]. In *Religiya i obshchestvo na Vostoke*, iss. II. Moscow, pp. 113–135. (In Russ.)
3. Baranovskii V.G., Naumkin V.V. (eds.). 2018. *Blizhnii Vostok v menyayushchemysya global'nom kontekste* [The Middle East in the changing global context]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
4. Baudrillard J. 2013. *The spirit of terrorism*. New York, Verso Books [Russ. ed.: Bodriyar Zh. 2016. *Dukh terrorizma*. Moscow, RIPOL klassik Publ.].
5. Va'ez N. 2019. Vliyanie palomnicheskikh poezdok na regional'nyu politiku Islamskoi Respubliki Iran i ee otnosheniya s obnovlennym Irakom [The impact of pilgrimages on the regional policy of the Islamic Republic of Iran and its relations with a renewed Iraq]. In *Religiya i obshchestvo na Vostoke*, iss. IV (in print). (In Russ.)
6. Kireev N.G. 2014. Politicheskaya anatomiya turetskoi proislamskoi Partii spravedlivosti i razvitiya [Political anatomy of the Turkish pro-Islamic Justice and Development Party]. In *Gosudarstvo, obshchestvo, mezhdunarodnye otnosheniya na musul'manskom Vostoke (Afganistan, Iran, Pakistan, Turtsiya, etnicheskii Kurdistan, sosednie musul'manskіe raiony)* [State, society, international relations in the Muslim East (Afghanistan, Iran, Pakistan, Turkey, ethnic Kurdistan, neighboring Muslim areas)]. Moscow, IV RAN Publ., Kraft+ Publ., pp. 150–168. (In Russ.)
7. Kortunov S.V. 2011. *Rossiya v mirovoi politike posle krizisa* [Russia in world politics after the crisis]. Moscow, Krasnaya zvezda Publ. (In Russ.)
8. Kosach G.G. 2017a. Saudovskaya Araviya: vnutrennie istoki terrorizma [Saudi Arabia: Interior origins of terrorism]. *Vestnik RUDN. International relations*, vol. 17, no. 4, pp. 639–654. (In Russ.)
9. Kosach G.G. 2018. Saudovskaya Araviya: pole konfrontatsii s terrorom [Saudi Arabia: A field of battle against terror]. In *Trudy Instituta vostokovedeniya RAN*, iss. 16. Moscow, pp. 104–139. (In Russ.)
10. Kosach G.G. 2017b. Saudovskaya Araviya: 'religioznoe gosudarstvo' ili 'gosudarstvennaya religiya' [Saudi Arabia: 'Religious state' or 'religion of the state']. In *Religiya i obshchestvo na Vostoke*, iss. I. Moscow, pp. 7–50. (In Russ.)
11. Kosach G.G. 2019. Saudovskaya Araviya: transformatsiya vlasti i politiki [Saudi Arabia: Transformation of power and policy]. *World Economy and International Relations*, no. 4, pp. 59–67. (In Russ.)

12. Kosach G.G. 2010. Saudovskaya Araviya: Tsentr natsional'nogo dialoga v kontekste 'etapa reform' [Saudi Arabia: Centre for national dialogue in the context of the 'stage of reforms']. In *Rossiya i islamskii mir: istoricheskaya retrospektiva i sovremennye tendentsii* [Russia and the Islamic world: Historical retrospective and contemporary trends]. Moscow, IV RAN Publ., Kraft+ Publ., pp. 303–324. (In Russ.)
13. Lobzhanidze A.A., Gorokhov S.A., Zayats D.V. 2019. *Etnogeografiya i geografiya religii* [Ethnogeography and the geography of religions]. 2nd ed. Moscow, Yurait Publ. (In Russ.)
14. Marx K. 1978. *Kapital* [Capital]. Moscow, Politizdat Publ., vol. 1. (In Russ.)
15. Melkumyan E.S. 2018. Vlast' i islam v Kuveite: pole vzaimodeistviya [Power and Islam in Kuwait. The field of interaction]. *Vestnik RGGU. Seriya: Politologiya. Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenie*, no. 2, pp. 92–104. (In Russ.)
16. Orlov V.V. 2011. Umerennye islamskie partii na arabskoi politicheskoi stsene: proby sil i otsenki 2000-kh godov [Moderate Islamic parties on the Arab political scene: Challenges and assessments of the 2000s]. In *Islamskii faktor v istorii i sovremennosti* [Islamic factor in past and present]. Moscow, Vostochnaya literatura Publ., pp. 409–421. (In Russ.)
17. Sarab'ev A.V. 2016a. Igra na mezkhkфессионаl'nykh protivorechiyakh: 'vol'tova duga' skvoz' stoletie. Chast' 1. Otvuki 'Saiks–Piko' ili nasledie mandata? [Playing on inter-confessional contradictions: 'an electric arc' through a century. Part 1]. *Vestnik Diplomaticheskoi akademii MID Rossii. Rossiya i mir*, no. 3 (9), pp. 208–218. (In Russ.)
18. Sarab'ev A.V. 2016b. Igra na mezkhkфессионаl'nykh protivorechiyakh: 'vol'tova duga' skvoz' stoletie. Chast' 2. Mezkhkфессионаl'nye otnosheniya v svete vozmozhnykh novykh pereustroystv Blizhnego Vostoka [Playing on inter-confessional contradictions: 'an electric arc' through a century. Part 2. Inter-religious relations in view of possible new re-settlements of the Middle East]. *Vestnik Diplomaticheskoi akademii MID Rossii. Rossiya i mir*, no. 4 (10), pp. 189–200. (In Russ.)
19. Truevtsev K.M. 2015. Blizhnevostochnyi uzel kak epitsentr protivostoyaniya sovremennogo panislamistskogo proekta i natsional'nykh gosudarstv [Middle-East as the epicentre of conflict between the contemporary pan-Islamist project and national states]. In *Natsii i natsionalizm na musul'manskom Vostoke* [Nations and nationalism in the Muslim East]. Moscow, IV RAN Publ., pp. 93–115. (In Russ.)
20. Truevtsev K.M. 2010. Globalizatsiya i islamskii mir: problemy adaptatsii [Globalization and the Islamic world: Adaptation challenges]. In *Rossiya i islamskii mir: istoricheskaya retrospektiva i sovremennye tendentsii* [Russia and the Islamic world: Historical retrospective and contemporary trends]. Moscow, IV RAN Publ., Kraft+ Publ., pp. 244–266. (In Russ.)
21. Truevtsev K.M. 2018a. Siriiskii konflikt: konfessional'nye lozungi i demograficheskie posledstviya [The Syrian conflict: Religious slogans and demographic implications]. In *Trudy Instituta vostokovedeniya RAN*, iss. 16. Moscow, IV RAN Publ., pp. 225–239. (In Russ.)
22. Truevtsev K.M. 2018b. Etapy siriiskogo konflikta i perspektivy iskhoda [Phases of the Syrian conflict and possible outcomes]. In *Trudy Instituta vostokovedeniya RAN*, iss. 16. Moscow, IV RAN Publ., pp. 240–262. (In Russ.)

23. Chikrizova O.S. 2015. K voprosu o metodologii izucheniya sunnito-shiitskikh vzaimootnosheniy [On the methodology of research of Sunni-Shiite relations]. *Vestnik RUDN. International Relations*, vol. 15, no. 3, pp. 74–82. (In Russ.)
24. Barzegar K. 2008. Iran and the Shiite Crescent: Myths and realities. *The Brown Journal of World Affairs*, vol. 15, no. 1, pp. 87–99.
25. Duman B., Sönmez G. 2018. An influential non-state armed actor in the Iraqi context: Al-Hashd Al-Shaabi and the implications of its rising influence. In Yeşiltaş M., Kardaş T. (eds.). *Non-state armed actors in the Middle East: Geopolitics, ideology, and strategy*. London, Palgrave Macmillan, pp. 169–187.
26. Frisch H. 2017. *Trump's air strike on al-Tanf: No to the Shiite Crescent*. BESA Center Perspectives Paper No. 483. Available at: <https://besacenter.org/perspectives-papers/syria-tanf-airstrike/> (accessed: 12.07.2019).
27. Itzhakov D. 2018. *Iran's new anti-Israel resistance axis*. BESA Center Perspectives Paper No. 747.
28. Kardaş Ş. 2018. The transformation of the regional order and non-state armed actors: Pathways to the empowerment In Yeşiltaş M., Kardaş T. (eds.). *Non-state armed actors in the Middle East: Geopolitics, ideology, and strategy*. London, Palgrave Macmillan, pp. 21–42.
29. Kuoti Y., Wirya K. 2018. *Post-crises prospects for reconciliation in Iraq: A Kurdish-Shi'ites debate in Najaf*. MERI Policy Brief, vol. 4, no. 18.
30. Lévy B.-H. 2019. *The empire and the five kings: America's abdication and the fate of the world*. New York, Henry Holt and Company.
31. Miller B. 2018. *How Iran became the dominant power in the Middle East*. BESA Center Perspectives Paper. No. 706.
32. Ostovar A. 2016. *Sectarian dilemmas in Iranian foreign policy: When strategy and identity politics collide*. Carnegie Endowment for International Peace.
33. Pichon F. 2017. *Syrie, une guerre pour rien*. Paris: Les éditions du Cerf.
34. Stockman D.A. 2016. *Trumped! A nation on the brink of ruin... And how to bring it back*. Baltimore, MD, Laisser Faire Books.
35. Yellinek R. 2018. *Who will reconstruct Syria?* BESA Center Perspectives Paper No. 750.

П.В. Шлыков*

**ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИЦЕНТРИЧНОСТИ
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ (2000–2010-е ГОДЫ)****

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

*«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1*

В статье предпринята попытка декодировать логику ревизии региональной политики Турции в 2000–2010-е годы, вписав ее в более широкий контекст трансформационных процессов на Ближнем Востоке. Для этого автор обращается к концепции «конкурентной полицентричности», которая позволяет учесть синхронное проявление, взаимное переплетение и субстанциональную оппозицию целого ряда ключевых трендов в развитии региона в указанный период. В этой связи трансформационные процессы на Ближнем Востоке рассмотрены на трех взаимосвязанных проблемных уровнях: глобальном, отражающем изменения в расстановке сил и характере участия мировых держав в ближневосточных делах; региональном — охватывающем отношения ключевых ближневосточных государств; и, наконец, страновом — позволяющем проанализировать переплетение внутри- и внешнеполитических императивов в политике той или иной страны. Подобный подход позволил автору показать, как на фоне относительного снижения американского влияния и ограниченного по своему характеру вовлечения в региональные процессы со стороны ЕС, КНР и России на первый план начинает выходить конкурентное взаимодействие нескольких претендующих на лидерство центров силы, представленных Турцией, Ираном, Израилем и Саудовской Аравией. Однако формирующаяся в регионе полицентричность не приводит к созданию устойчивого баланса сил, поскольку объектом приложения конкурентной борьбы перечисленных государств становятся в первую очередь страны, сталкивающиеся с кризисом государственности. Особый интерес представляет пример Турции, поскольку в рассматриваемый период ее

* Шлыков Павел Вячеславович — кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова (e-mail: shlykov@iaas.msu.ru).

** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01614 «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз».

внешнеполитический курс претерпел особенно глубокие изменения. Из страны, включенной в трансатлантические отношения и в значительной степени подчиненной их логике, в 2000-е годы Турция, используя свои экономические достижения, стала превращаться в независимый центр силы на Ближнем Востоке, поставив во главу угла прежде всего собственные национальные интересы. На определенном этапе подобное усиление влияния Анкары было благоприветно воспринято другими региональными игроками, однако к концу 2010-х годов проявились и явные противоречия, продуцируемые ростом ее региональных амбиций. В результате Турция стала еще одним актором, усиливающим, а не сглаживающим конкурентный характер полицентричности на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: Ближний Восток, Турция, Иран, Саудовская Аравия, Израиль, Россия, США, ЕС, конкурентная многополярность/полицентричность, международные организации, многосторонние институты, региональный комплекс безопасности.

Международно-политическая трансформация Ближнего Востока¹ со времени окончания «холодной войны» находится в фокусе научного и общественного внимания, вызывая широкую дискуссию о природе и характере происходящих в регионе перемен. Ключевыми составляющими этой трансформации в 2010-е годы стали эрозия западного влияния, обострение конкуренции ведущих региональных держав и кризис национальной государственности вкупе с коллапсом значительного числа казавшихся относительно устойчивыми политических режимов. Взятые по отдельности, эти перемены не являют собой нечто совершенно новое для региона. Так, сама по себе конкурентная полицентричность может быть отнесена к одной из специфических черт развития Ближнего Востока во второй половине XX в. Кризис национальной государственности и институтов власти — неотъемлемая часть новейшей истории многих стран региона (Сирии, Ирака, Йемена, Ливана и др.) [Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018: 14–53, 98–132, 102]. Государства, считавшиеся проводниками интересов США, и раньше нередко демонстрировали стремление действовать наперекор чаяниям своего главного западного союзника. Примерами могут служить и маятниковая динамика отношений Анкары с Вашингтоном,

¹ В статье используется расширенная трактовка региона Ближнего Востока как пространства от Северной Африки до Турции и Ирана, а также расположенных к югу от них арабских стран, что в традиции англоязычной научной литературы часто обозначается аббревиатурой MENA (Middle East and North Africa).

и стремление Эр-Рияда проводить относительно независимую региональную политику, не всегда коррелирующую с американскими интересами. Таким образом, каждая из обозначенных тенденций имеет достаточно длительную историю. Однако их синхронное проявление в 2010-е годы дало кумулятивный эффект, дестабилизирующий ситуацию в регионе. Массовые антиправительственные выступления в Тунисе, Египте, Йемене, Ливии, Сирии и ряде других стран Ближнего и Среднего Востока, хотя и имели историческую подоплеку, обладали рядом специфических черт, нехарактерных для предшествующей эпохи [подробнее см.: Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия..., 2012: 3–20, 32–107; Звягельская, 2014: 30–102; Гринин и др., 2015].

Представители наиболее распространенного подхода к объяснению происходящих в регионе процессов акцентируют внимание на переходе Ближнего Востока в новую фазу геополитической развилки, завершившую период относительной стабильности и предсказуемости, длившийся несколько десятилетий [подробнее см.: Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия..., 2012: 3–20, 32–107; Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018: 14–53; *Foreign policies of Middle East states*, 2014: 1–34, 35–74; Stein, 2019]. На противоположном полюсе находятся исследователи, которые стремятся объяснить логику формирующегося нового регионального порядка и его основные детерминанты, делая акцент на каком-то одном общерегиональном тренде, например процессе исламизации [Volpi, 2019] или межконфессиональных и межэтнических расколах [Abdo, 2013, 2016; Salloukh, 2014], переформатирующих как регион в целом, так и отдельные ближневосточные государства. При этом нелинейность динамики международно-политических процессов на Ближнем Востоке и их непредсказуемость делают крайне затруднительным выделение единичных трендов, способных выступать в качестве системообразующих при формировании нового регионального порядка в целом.

В этой связи значительным эпистемологическим потенциалом, как представляется, обладает концепт «конкурентной полицентричности»². Он позволяет учесть синхронное проявление

²О концептах «полицентричности» и «многополярности» см.: [Богатуров и др., 2002: 284; Россия в полицентричном мире, 2011: 7–10, 119–163; Kausch, 2015]. Как отмечал А.Д. Богатуров, «для многополярности характерна примерная сопоставимость совокупных возможностей одновременно нескольких государств, ни одно из которых не обладает явно выраженным превосходством над остальными».

ние, взаимное переплетение и субстанциональную оппозицию целого ряда ключевых трендов в развитии Ближнего Востока в 2000–2010-е годы и на этой основе выстроить стереофоническую картину международно-политической трансформации региона. Для этого трансформационные процессы на Ближнем Востоке необходимо рассмотреть на трех взаимосвязанных проблемных уровнях: глобальном, отражающем изменения в расстановке сил и характере участия мировых держав в ближневосточных делах; региональном — охватывающем отношения ключевых ближневосточных государств; и, наконец, страновом — позволяющем проанализировать переплетение внутри- и внешнеполитических императивов в политике той или иной страны.

Подобный подход дает возможность по-новому взглянуть на логику развития внешней политики ключевых ближневосточных государств в их системной взаимосвязи. Особый интерес представляет пример Турции, поскольку в рассматриваемый период ее внешнеполитический курс претерпел особенно яркую трансформацию. Из страны, включенной в трансатлантические отношения и в значительной степени подчиненной их логике, в 2000-е годы Турция, используя свои экономические достижения, стала превращаться в независимый центр силы на Ближнем Востоке, поставив во главу угла прежде всего собственные национальные интересы. На определенном этапе подобное усиление влияния Анкары и рост ее внешнеполитической активности были благоприятно восприняты другими региональными игроками, однако к концу 2010-х годов проявились и явные противоречия, продуцируемые ростом ее региональных амбиций. В результате Турция стала еще одним актором, усиливающим, а не сглаживающим конкурентный характер полицентричности на Ближнем Востоке. Для того чтобы лучше понять данный феномен, в представленной статье предпринята попытка декодировать логику ревизии региональной политики Турции, вписав ее в более широкий контекст трансформационных процессов на Ближнем Востоке, рассмотренных через призму концепции «конкурентной полицентричности».

Контуры ближневосточной полицентричности в глобальном контексте

Исторически в глобальном масштабе «такая структура международных отношений была в Европе XIX в., когда европейские великие державы ревниво следили друг за другом, не позволяя ни одной из них усилиться до такой степени, чтобы коалиция всех остальных не обеспечивала им заведомого превосходства над пытающимся “уйти в отрыв” соперником» [Богатуров и др., 2002: 284].

Ближний Восток никогда не был обделен вниманием крупных внерегиональных держав, однако характер их включенности на протяжении последних нескольких десятилетий серьезно изменился. Несмотря на сохранение заинтересованности, которую демонстрируют США и ведущие страны ЕС, в 2010-е годы их реальные возможности влиять на ситуацию в регионе, даже в условиях их масштабного военного присутствия, имели очевидную отрицательную динамику.

Сужение реальных масштабов вовлеченности США и других западных стран в ближневосточные дела выразилось в нескольких взаимосвязанных процессах. Наиболее рельефно это проявилось в ревизии подходов к определению ключевых угроз, исходящих из региона. После катастрофически затратного в ресурсном и имиджевом отношении вторжения в Ирак, фактически разрушившего международную антитеррористическую коалицию начала 2000-х годов, американские политики стали придерживаться более прагматичных подходов к Ближнему Востоку, место которого на шкале стратегических приоритетов потеснило азиатское направление внешней политики [Manyin et al., 2012].

Во второй половине XX в. базовые приоритеты ближневосточной политики США включали заботу о стратегической безопасности Израиля как проводника американских интересов в регионе, обеспечение свободного транзита нефти из стран Персидского залива и блокирование исходящих от региона угроз международной безопасности [Hudson, 2016]. Качественные изменения в содержании американских приоритетов на Ближнем Востоке, произошедшие в 2000-е годы, привели к тому, что для их реализации уже не требовалось прямого вмешательства в дела региона. Наличие ядерного оружия у Израиля обеспечило его стратегическое и техническое превосходство над любым гипотетическим противником на региональном уровне [Maoz, 2009: 301].

Опробованное в 1970-е годы «нефтяное оружие» стран Персидского залива в условиях, когда США после «сланцевой революции» превратились в нетто-экспортера нефти и установили контроль над большей частью морских поставок энергоносителей, утратило прежнее значение. Теперь уже Вашингтон получил возможность оказывать давление как на экспортеров, так и на импортеров нефти, связанных с морскими перевозками [Hughes, Long, 2015: 187].

В то же время и набор стран, политика которых традиционно ассоциировалась с угрозами интересам США, резко сократился. Ирак фактически был нейтрализован после свержения режима Саддама Хусейна в результате американского вторжения в 2003 г. Иран оказался под перманентными санкциями, круг которых после фактической отмены в 2018 г. Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стал стремительно расширяться. Остальные страны, выступавшие реальными или потенциальными раздражителями, оказались нейтрализованы в ходе «арабской весны» (как, например, режим Муаммара Каддафи в Ливии). Наиболее острой и нерешенной проблемой на ближневосточном направлении для США к середине 2010-х годов остался международный терроризм.

На официальном уровне это было закреплено в обновленной Стратегии национальной безопасности США (2015), в тексте которой борьба с «перманентной угрозой терроризма» обозначалась как ключевой приоритет³. Парадокс реализации этой задачи состоял в том, что при неизменности официальной риторики о поддержке демократических сил, важности либеральных реформ и необходимости модернизации политических институтов Вашингтон со времени президентства Барака Обамы на практике предпочитал помогать авторитарным режимам на Ближнем Востоке, которые отнюдь не были склонны к либерализации политической и общественной жизни, но демонстрировали лояльность американским интересам [Youmans, 2016: 1209]. Логика такой политики объяснялась простым расчетом: бороться с террористическими угрозами разного порядка и свойства эффективнее руками и силами местных политических режимов, готовых действовать в русле интересов США. Вместо прямого военного участия для успеха можно было ограничиться консультативно-организационной помощью и в отдельных случаях логистической поддержкой.

Известная формула «зачем делать то, что за тебя могут сделать другие» легла в основу внешнеполитического прагматизма США на Ближнем Востоке, что разительно контрастировало с подходом Дж. Буша-мл., инвестировавшего колоссальные ресурсы в ценностно ориентированную политику, фокусировавшуюся

³Obama B. National Security Strategy. Washington, D.C.: The White House, 2015. P. 9. Available at: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf (accessed: 10.08.2019).

на борьбе с терроризмом, нераспространении ядерного оружия и продвижении демократии. В целом ни одна из этих задач не была реализована, и ближневосточная политика Дж. Буша-мл. была оценена как провальная из-за чрезмерного упования на военную силу, противоречивости целей и методов их реализации, малоэффективной дипломатии, негибкости подходов, не учитывавших местную специфику, и т.д. [Pressman, 2009: 149–150]. На контрасте с этим «бездоктринальная» политика последующих администраций, проповедовавших внешнеполитический реализм с его центральной идеей ограниченности ресурсов, вызывала ощущение «заката эпохи американского доминирования в регионе» [Gerges, 2013: 301].

К середине 2000-х годов, когда стало очевидно, что война в Ираке развивается по неблагоприятному сценарию, проблема ограниченности ресурсов вынудила США подвергнуть ревизии прежнюю конфронтационную стратегию на Ближнем Востоке [Salem, 2008: 17–18]. Стремление к поиску компромисса наиболее рельефно проявилось во второй президентский срок Барака Обамы, когда дипломатическое решение иранской ядерной проблемы оказалось в ряду приоритетов региональной политики. Результатом нового регионального курса стали вывод американских войск из Ирака и подписание СВПД с Ираном. Для традиционных союзников США, прежде всего Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, шаги Вашингтона выглядели как поощрение ИРИ на фоне снижения заинтересованности в делах региона.

Действительно, несмотря на сохранение ближневосточной тематики в официальной риторике Белого дома, в 2010-е годы на шкале внешнеполитических приоритетов на первый план вышел Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) [Gerges, 2013: 300]. В связи с высокими темпами его экономического роста первостепенное значение АТР для американской внешней политики нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности⁴. Императив «азиатского поворота» объяснялся тем, что власти США связывали будущее экономическое развитие страны именно с АТР, а в ряду угроз национальным интересам на первое место ставили усиление Китая [Goldberg, 2016]. Администрация Дональда Трампа в целом продолжила следовать в фарватере стратегии «азиатского поворота» с некоторыми важными изменениями,

⁴ Ibid. P. 24.

касавшимися расширения взаимодействия с Индией как потенциальной силой, которая сдерживает экспансию влияния КНР [Ayres, 2019]. На ближневосточном направлении политика США во второй половине 2010-х годов не претерпела кардинальных изменений, за исключением нового витка санкционной войны против Ирана после срыва СВПД.

На фоне постепенного снижения интереса США и других западных стран к Ближнему Востоку противоположные тенденции можно увидеть в подходах к региону у Китая. Правда, интересы эти пока во многом чисто экономические. Развитие энергетического сотрудничества и обеспечение доступа китайских товаров на местный рынок — главные драйверы ближневосточной политики Пекина (с 1993 г. КНР — крупнейший импортер ближневосточных энергоресурсов) [Calabrese, 1998: 351]. Для нефтедобывающих стран региона Китай — важная альтернатива США, сократившим объемы импорта нефтепродуктов. К середине 2010-х годов более половины нефти Пекин закупал именно на Ближнем Востоке [Meidan et al., 2015]. Существенная роль региону отведена и в рамках реализации масштабного логистического проекта «Один пояс — один путь» как в сухопутной, так и в морской его части [Andersen, Jiang, 2014: 27]. За 10 лет — с середины 2000-х годов — объем прямых инвестиций Китая в регион Ближнего Востока и Северной Африки увеличился без малого в 10 раз — с 3,4 млрд долл. в 2005 г. до 27,8 млрд долл. в 2016 г.⁵, а по итогам 2018 г. Ближний Восток стал единственным регионом, объем прямых инвестиций в который со стороны КНР демонстрировал уверенный рост [Molavi, 2019]. Только в странах Персидского залива в середине 2010-х годов активно работали более 74 тыс. китайских компаний, преимущественно в сфере строительства и энергетики [Andersen, Jiang, 2014: 28].

Торгово-экономическая экспансия КНР на Ближний Восток неизбежно отразилась и на политико-дипломатических отношениях Пекина с государствами региона. В 1990–2000-е годы Китай старался следовать политике сдержанного прагматизма, заботясь исключительно о безопасности своих инвестиций и сохранении торгово-экономических интересов, предпочитал не вмешиваться в ближневосточные коллизии и рассматривал военное присутствие США вкупе с политической активностью

⁵ China global investment tracker // American Enterprise Institute. 2018. Available at: <http://www.a.ei.org/china-global-investment-tracker/> (accessed: 10.08.2019).

Вашингтона в умеренно-позитивном ключе [Andersen, Jiang, 2014: 29]. Ограниченный формат участия в ближневосточных делах (на дипломатическом уровне в переговорах по иранской ядерной программе или проблеме Судана) при соблюдении принципа невмешательства позволил наблюдателям характеризовать китайскую стратегию в регионе как «активный прагматизм» [Andersen, Jiang, 2014: 6], верность которому Пекин сохранял и в 2010-е годы, несмотря на призывы части китайской элиты расширить военно-политическое присутствие пропорционально торгово-экономическому [Evron, 2015: 125–126].

Что касается Европы, то исторически она была глубоко интегрирована в ближневосточную проблематику, однако в 2010-е годы включенность ЕС в дела региона практически свелась к обеспечению своих торгово-экономических интересов. Статистика 2010-х годов фиксирует относительный рост прямых инвестиций Евросоюза в страны Ближнего Востока и Северной Африки: в середине 2010-х годов их объемы перешагнули отметку в 171 млрд долл.⁶ Однако масштабы экономической деятельности ЕС в регионе не подкрепляются сопоставимым размахом политического участия (невысокая активность по иранской проблеме, гражданской войне в Сирии и т.д.)⁷. Парадоксальным образом при наличии широкого диапазона интересов в сфере не только торговли и инвестиций, но и региональной безопасности, противодействия терроризму, регулирования миграционных потоков и т.д. политическая инициатива ЕС на Ближнем Востоке в 2010-е годы имела ограниченный формат выражения [Demmelhuber, Kaunert, 2014]. Опора на концепт «нормативной силы», центральный для внешней политики Брюсселя, оказалась не совсем подходящей основой для выстраивания долгосрочной стратегии на ближневосточном направлении, особенно с учетом политико-экономического и военно-стратегического значения региона. Яркий пример — европейское участие в урегулировании палестино-израильского конфликта, показавшее ограниченность

⁶ Foreign direct investment statistics // Eurostat. 2018. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Foreign_direct_investment_statistics (accessed: 10.08.2019).

⁷ При этом на «национальном уровне», во внешней политике ряда европейских стран, можно отметить и несколько исключений: инициативы Франции по Палестине и Ливии, активность Италии в Ливии и др.

и невысокую эффективность «нормативной политики» ЕС [Sini-ver, Cabrera, 2015: 214].

Россия с середины 2000-х годов начала ощутимо наращивать активность на Ближнем Востоке сразу по нескольким направлениям: в торгово-экономической, энергетической и военно-политической сферах. Стремительно развивавшиеся события в регионе в ходе «арабской весны» требовали быстрого реагирования на перемены. В новых условиях рельефно проявился специфический характер прагматических подходов России к Ближнему Востоку, где в качестве приоритетной была выбрана линия на поддержку существующих политических режимов, пресечение внутренних гражданских конфликтов и противодействие внешнему вмешательству. Такие подходы объяснялись стремлением не допустить распространения радикальных и террористических группировок на территорию России и приграничные страны и регионы⁸. Высокая степень включенности в региональные процессы в 2010-е годы, особенно на сирийском направлении и в рамках борьбы с террористической активностью «ИГИЛ»⁹, все рельефнее проявляла желание России выступать в качестве одного из главных игроков на Ближнем Востоке, определяющих региональный порядок.

В то же время специфика ближневосточной ситуации и острая конкуренция между региональными державами делали крайне затруднительной простую конвертацию экономической и военно-политической активности России, Китая, США и ЕС на Ближнем Востоке в реальное влияние на формирующийся новый ближневосточный порядок.

Таргетированный характер присутствия мировых держав на Ближнем Востоке непосредственно отразился на региональном миропорядке, дав очевидные преимущества ближневосточным центрам силы — Турции, Ирану, Саудовской Аравии и Израилю, возможности которых в создании военно-политических альянсов и выстраивании регионального порядка исходя из своих интересов серьезно увеличивались.

⁸ Выступление В.В. Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Официальный сайт Президента России. 28.09.2015. Доступ: <http://kremlin.ru/events/president/news/50385> (дата обращения: 10.08.2019).

⁹ «Исламское государство» (до 29 июня 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», «ИГИЛ») — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. — *Прим. ред.*

Ближневосточные «сверхдержавы»

Несмотря на достаточно широкий круг стран, претендующих на региональное лидерство, подлинными ближневосточными «сверхдержавами» можно считать четыре государства: Турцию, Иран, Израиль и Саудовскую Аравию. У всех четырех есть далеко идущие амбиции, подкрепленные наличием достаточных военно-политических и экономических ресурсов, их правительства проводят активную внешнюю политику на региональном уровне и, что немаловажно, их авторитет и влияние признаются другими странами региона [Öniş, 2014: 204]. При этом у каждого из обозначенных государств имеется свое видение оптимального регионального порядка. Израиль и Саудовская Аравия придерживаются консервативного подхода и выступают за сохранение статус-кво, считая установившийся в середине второй половины XX в. региональный порядок с США в роли силы, детерминирующей региональную подсистему, соответствующим своим стратегическим интересам¹⁰. Прямо противоположную позицию занимают Иран и Турция, ратующие за кардинальную реформу регионального порядка, причем мотивация у Анкары и Тегерана совершенно различна [Keyman, Sazak, 2015].

С начала 2000-х годов, когда к власти в Турции пришла Партия справедливости и развития (ПСР) Реджепа Эрдогана, страна стала наращивать активность на ближневосточном направлении, причем нередко в ущерб региональным интересам своих западных союзников. Некоторые обозреватели даже назвали такую политику Анкары «неоосманизмом», увидев в ней стремление восстановить влияние Турции в границах Османской империи XVI в. [Arin, 2013; Fuller, 2007; Yavuz, 1998; Taşpınar, 2008], однако точнее было бы охарактеризовать это «поворотом на Восток» ввиду соответствующего расширения целей и границ внешнеполитической активности страны. В свою очередь Иран настаивает на необходимости установления «справедливого

¹⁰ Клише саудовского официального дискурса о «консервативности королевства» означает, что проводимый государством внешнеполитический курс направлен на сохранение статус-кво, понимаемого как обеспечение стабильности в стратегически важных регионах — зоне Залива и на Ближнем Востоке [подробнее см.: Косач, 2012: 362]. Значительная часть политической элиты Израиля в своих оценках регионального порядка исходит из того, что в арабском мире велико эмоциональное неприятие Государства Израиль, поэтому любые перемены будут означать усиление антиизраильских настроений [подробнее см.: Карасова, 2012: 487; Jones, 2014].

регионального порядка» [Keyman, Sazak, 2015], главным препятствием на пути к которому он видит диктат западных стран и доминирование США.

Отправной точкой трансформации регионального порядка на Ближнем Востоке можно считать конец 1980-х годов, когда за доминирование вели противостояние сразу несколько держав, ни у одной из которых не было достаточно военно-политических и экономических ресурсов для того, чтобы стать страной-гегемоном на региональном уровне [Hinnebusch, 2014: 51]. С окончанием «холодной войны» в 1990-е годы на Ближнем Востоке возобладали две тенденции, определившие дальнейшую трансформацию регионального порядка в его движении к конкурентной полицентричности: с одной стороны, это подъем суннитских держав, выступающих традиционными союзниками Вашингтона, — Турции, Египта, Саудовской Аравии и других государств Персидского залива, с другой — политическое и экономическое сдерживание Ирана и Ирака со стороны США [Mead, 2014: 70]. С вторжением международной коалиции в Афганистан в 2001 г. и началом американской интервенции в Ирак у Ирана, который на некоторое время перестал быть главным раздражителем и объектом внимания Запада в регионе, появилась возможность расширить свое влияние на региональные процессы. В 2000-е годы Тегеран в достаточной степени утвердился в роли важного регионального центра силы.

Иначе ситуация сложилась в Египте, который в 2000-е годы оказался в тисках внутривнутриполитического кризиса, осложненного непростой экономической ситуацией и, как следствие, утратой значительной доли внешнеполитического влияния. В 2010-е годы Египет окончательно выбыл из гонки за региональное лидерство. Массовые народные выступления в январе–феврале 2011 г., краткий период пребывания у руля «Братьев-мусульман», государственный переворот 2013 г. и возвращение к власти военной элиты — цепь этих драматических событий привела к тому, что Египет при президенте Абдель Фаттахе ас-Сиси в региональной политике солидаризовался с Саудовской Аравией, фактически отказавшись от борьбы за доминирование в регионе. При этом Египет с его без малого 95 млн населения, второй по численности армией на Ближнем Востоке [Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2019: 37–39] и серьезным духовно-культурным авторитетом, символом которого служит

один из старейших и наиболее престижных мусульманских университетов аль-Азхар, по-прежнему сохраняет серьезный потенциал регионального лидерства, несмотря на снижение внешнеполитической активности [Hinnebusch, Shama, 2014].

В случае с Израилем статус ближневосточной «сверхдержавы» обусловлен двумя факторами: особо тесными союзническими отношениями с США и наличием ядерного потенциала. В совокупности эти два обстоятельства позволяют небольшому государству проводить достаточно воинственную региональную политику и широко практиковать превентивные военные удары и операции, не особо опасаясь получить отпор со стороны соседних стран. Таким образом, положение Израиля как одного из региональных центров силы базируется на внушительном военном потенциале и заступничестве со стороны США, гарантирующих Тель-Авиву стратегическую безопасность [Jones, 2014: 293].

В начале 2010-х годов, непосредственно после первой волны «арабской весны», Израиль выглядел страной, утратившей былое стратегическое положение в рамках нового баланса сил в регионе, однако в последующие годы ему удалось не только восстановить свои позиции, но и укрепиться в роли одной из ведущих ближневосточных держав за счет политики сближения с рядом влиятельных региональных игроков — Саудовской Аравией, ОАЭ и др. Тесное сотрудничество Тель-Авива и Эр-Рияда по времени совпало с переговорами о заключении СВПД между «шестеркой» международных посредников и Ираном, в котором на тот момент США видели потенциального союзника в борьбе с «ИГИЛ» [Rabinovich, 2015: 10]. Перспектива ирано-американского сближения подтолкнула Израиль и Саудовскую Аравию к созданию негласного союза «умеренных региональных сил». По мнению израильского руководства, в основе подобного союза должно было быть общее понимание правильного регионального порядка: позиционируя себя как «умеренную страну», стоящую на позициях сохранения статус-кво и примата региональной стабильности, Израиль стремился объединиться с государствами, разделяющими схожие ценности и не приветствующими радикальные трансформации Ближнего Востока [подробнее см.: Карасова, 2012: 487; Jones, 2014]. Все, кто придерживался «умеренных позиций», безотносительно превалирующей этнической и конфессиональной идентичности могли быть потенциальными союзниками [Voller, 2015: 508–510].

Подобная «ось умеренных государств», как ее видели в Тель-Авиве, могла бы включать Саудовскую Аравию, Египет, Иорданию, ОАЭ и Бахрейн. Сформулированная в общих чертах еще в конце 1990-х годов, эта концепция в 2010-е годы, после событий «арабской весны», получила дальнейшее развитие и практическое воплощение [подробнее см.: Voller, 2015; Hinnebusch, 2019: 116]. Этому процессу способствовали два важных фактора: «Арабское пробуждение», во-первых, обнажило геостратегическую уязвимость Израиля, а во-вторых, изменило региональный баланс сил в неблагоприятную для него сторону [Amour, 2017: 294–297]. Еще один источник беспокойства Тель-Авива — усиление умеренно-исламистских режимов, демократическим путем пришедших к власти в Турции (2002), Марокко (2011), Египте (2012) и Тунисе (2011) и активно налаживающих взаимодействие с ХАМАС, которое создало серьезную угрозу региональным интересам Израиля и его безопасности [Amour, 2017: 299].

Поскольку из крупных региональных держав на расширение сотрудничества с Израилем такие страны, как Иран, стоящий традиционно на антиизраильских позициях, и Турция, находящаяся в конфронтации с Израилем с конца 2000-х годов, определенно пойти не могли, круг потенциальных союзников Тель-Авива оказался достаточно узким. Критерию «умеренной страны», не поддерживающей перегруппировку сил на Ближнем Востоке, отвечали Саудовская Аравия, монархии Персидского залива, Египет после прихода к власти А.Ф. ас-Сиси [Rabinovich, 2015: 5–6]. Еще одно обстоятельство, которое способствовало саудовско-израильскому сближению, состояло в том, что обе страны разделяли обеспокоенность по поводу непредсказуемых негативных последствий гражданской войны в Сирии и отношение к Ирану как к «экзистенциальной угрозе», главному источнику вызовов национальной безопасности [Potter, 2015: 43, 45]. Сирийский фактор, спровоцировавший множество деструктивных процессов в регионе (основным из которых стал подъем «ИГИЛ»), распространение радикальных группировок на ближних подступах к израильским границам и усиление иранского военного присутствия в Сирии имели катастрофические последствия для стратегического положения как Израиля [Rabinovich, 2015: 7], так и Саудовской Аравии.

Для Эр-Рияда ситуация осложнялась еще и тем, что усиление азиатского направления внешней политики США вкруп-

с подписанием СВПД создавало ощущение, будто Саудовская Аравия стремительно теряет былую поддержку Вашингтона и рассчитывать на прежние особые отношения нельзя. Реакцией на это стала более энергичная региональная политика в сфере безопасности, направленная на уменьшение активности Ирана в Сирии, Ливане и Йемене, где в силу острого политического кризиса и ослабления центральной власти развернулась борьба между различными региональными группировками.

Размеры военного потенциала Саудовской Аравии недостаточны для стратегического лидерства в регионе в целом, но позволяют осуществлять сдерживание других региональных держав и обеспечивать лояльность малых стран, что с успехом реализуется, например, в отношении Бахрейна [Gause, 2014: 189]. Важным инструментом достижения доминирования Эр-Рияда над малыми странами региона служит и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В этом же ключе власти Саудовской Аравии используют и особое положение страны как религиозно-культурного центра мусульманского мира [Gause, 2014: 191–192].

Базовые цели внешней политики Эр-Рияда двуедины и сводятся к защите национального суверенитета (от гипотетического внешнего вторжения и потери самостоятельности) и обеспечению внутривнутриполитической стабильности [Gause, 2014: 185]. Для реализации этих целей последние три десятилетия королевство демонстрирует всё возрастающую активность, отправной точкой для которой стала Война в Персидском заливе (1990–1991), когда Саудовская Аравия действовала исходя из того, что ключевые угрозы ей представляют амбиции Ирака, претендующего на региональное лидерство, и опасная политика соседних Ирана и Йемена [Kechichian, 1999: 232].

Как и в случае с Израилем, идейно-ценностная составляющая определяет и характер региональной политики Эр-Рияда, и выбор союзников. Так, враждебность по отношению к Ирану в равной мере объясняется как чисто военно-стратегическими, так и культурно-историческими факторами. Исламская революция в Иране 1979 г. и провозглашение Исламской Республики как «истинно исламского государства» косвенно наносили удар по имиджу Саудовской Аравии, исторически позиционировавшей себя в таком качестве. Неслучайно оппозиция «суннитская Аравия — шиитский Иран» выступает одним из стречневых

принципов внешней политики Эр-Рияда [Darwich, 2014: 5]. Аналогично объясняется и враждебность Саудовской Аравии по отношению к «Братьям-мусульманам», возвышение которых в Египте в начале 2010-х годов стало серьезным раздражающим фактором для Эр-Рияда, добившегося к тому моменту определенных успехов в отстаивании статуса истинной мусульманской державы [Darwich, 2014: 6]. Власти королевства старались представить «Братьев-мусульман» как оппортунистов, подменивших верность догмам и ценностям ислама сиюминутным прагматизмом [Darwich, 2014: 13].

Противостояние с Ираном не только в военно-стратегической, но и в политико-идеологической сфере выступает одной из доминант внешней политики Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Как сторонник регионального статус-кво Эр-Рияд видит прямую угрозу в политике Ирана, выступающего за ревизию регионального комплекса безопасности, что противоречит интересам Саудовской Аравии и ее союзников. Рост влияния Ирана в Сирии и Ираке, тесные связи с Хуситами в Йемене, а также гипотетическое усиление шиитской общины Саудовской Аравии, которую Тегеран по мере расширения шиитского присутствия в регионе вполне может использовать как «пятую колонну», — всё это воспринимается как прямая угроза безопасности королевства.

Для Саудовской Аравии соперничество с Ираном давно приобрело формы экзистенциального противостояния, выражающегося в непременном желании сокрушить оппонента любой ценой. Позиция Тегерана в отношении Эр-Рияда в целом зеркальна, хотя и лишена столь явной ценностно-эмоциональной составляющей. Саудовская Аравия при этом активно использует инструменты «мягкой силы» и свои финансово-экономические ресурсы для расширения союзнических отношений, особенно в странах Африки, где Иран добился определенных успехов в создании лояльных сил по модели «Хизбаллы», таких как Исламское движение Нигерии [Feierstein, Greathead, 2017: 1–8]. Еще одним инструментом давления на Иран для Эр-Рияда являются ССАГПЗ и Лига арабских государств (ЛАГ), в рамках которых королевство активно лоббирует признание «Хизбаллы» террористической организацией. Подобная политика на региональном уровне несет очевидный сигнал другим странам, что нужно как можно скорее определиться, какую сторону им выгоднее принять в рамках ирано-саудовского противостояния [Berti, 2016].

Конкурентное противостояние ближневосточных «сверх-держав», по-разному видящих оптимальные характеристики выстраиваемого нового регионального порядка, во многом определяет существование государств «второго эшелона». Часть из них можно условно отнести к сторонникам статус-кво (Бахрейн, Иордания, ОАЭ), у других традиционно имеются более рельефно выраженная позиция по вопросам региональной политики (Алжир, Марокко, Оман, Катар) и стремление продвигать свои интересы. На нижнем ярусе этой условной иерархии находятся страны, серьезно ослабленные событиями 2000-х и 2010-х годов (Ирак, Сирия, Йемен, Ливия, Ливан) и ставшие объектами вторжения иностранных государств и ареной противостояния как региональных, так и внерегиональных держав в борьбе за усиление своих позиций на Ближнем Востоке.

Таким образом, новый формат конкурентной полицентричности в регионе оказался не залогом устойчивого регионального порядка, а, наоборот, катализатором нестабильности. Высокая скорость трансформационных процессов на Ближнем Востоке, с одной стороны, делает установившуюся в 2000-е и 2010-е годы иерархию региональных держав неустойчивой (потенциал стран, оказавшихся во «втором эшелоне», например Египта, вполне может выдвинуть их в региональные лидеры, активность Катара и ОАЭ также продемонстрировала их амбиции), с другой — дает возможность ряду ближневосточных государств предлагать свою повестку развития региона, как это произошло в случае с Турцией.

Турция как «перекрестное государство»: ревизия региональной политики в 2000–2010-е годы

На протяжении большей части своей республиканской истории Турция не позиционировала себя в качестве ближневосточной державы, а нацеливалась на признание себя частью западного мира — именно такую задачу формулировал Кемаль Ататюрк как приоритет внешней и внутренней политики. Более того, при характеристике Турции как ближневосточной страны турецкие власти всегда подчеркивали наличие у государства одновременно нескольких «региональных идентичностей» [Altunışık, 2014: 124]. Действительно, Турция — это страна с множественной региональной идентичностью сразу по нескольким показателям: географическому положению на стыке Европы и Азии, культур-

но-историческому наследию, политическим и экономическим связям с соседними регионами. Республиканской Турции исторически было свойственно распределять внешнеполитические усилия сразу по нескольким региональным направлениям, при этом не добиваясь полноценного доминирования ни на одном из них. Неслучайно Ахмет Давутоглу, возглавлявший турецкий МИД в 2009–2014 гг., в своей концептуальной характеристике Турции и ее внешнеполитического целеполагания определил ее как «центральную страну» обширного региона Афразии — суперконтинента, включающего Африку и Евразию, поскольку не хотел, чтобы Турцию и ее политику рассматривали узко-регионально. В концепции А. Давутоглу Ближний Восток для Турции — «неотъемлемый хинтерленд», в то время как сама она принадлежит сразу нескольким регионам [Davutoglu, 2008: 78].

Нахождение Турции на стыке Европы и Ближнего Востока способствовало появлению концепции «перекрестного государства» (*cusp state*) [Herzog, Robins, 2014]. Ее авторы Филипп Робинс и Марк Герцог отмечали, что географическое положение Турции между двумя столь различными регионами (кардинально различающимися по военно-стратегическим, политико-идеологическим, экономическим, духовно-культурным и иным характеристикам) подвергают ее «гравитации сразу двух региональных подсистем» [Robins, 2006: 204]. В свою очередь Барри Бузан, подчеркивая специфику геополитического положения Турции, определял ее как «изолированную страну» по причине ее нахождения на периферии как Ближнего Востока, так и Европы, в полной мере не принадлежащую ни к одному региональному комплексу [Buzan, Waver, 2004]. Как следствие, у Турции отсутствует четкий региональный базис, структурирующий ее положение и внешнеполитическую активность.

Иногда с целью высветить гибридность геополитического положения Турции ее определяют как «лиминальную державу», подчеркивая то, что она является точкой «пересечения и сопряжения нескольких регионов», и это, как считает Лерна Янык, наделяет ее «исключительным потенциалом для мировой политики» [Yanik, 2011: 80]. В то же время можно встретить и характеристики Турции как страны «около БРИКС» (*near-BRICS power*), которая придерживается проактивной и независимой внешней политики с четко обозначенной целью играть роль ведущей региональной державы [Öniş, Kutlay, 2013].

Иными словами, пограничное, перекрестное геополитическое положение Турции вкупе с множественной региональной иден-

тичностью не обязательно рассматривать в качестве проблемы или фундаментального недостатка, поскольку в нем кроются очевидные преимущества и потенциальные возможности для более гибкой внешнеполитической ориентации [Altunışık, 2014: 125–142]. Не принадлежа ни к одному конкретному региональному комплексу безопасности, но имея схожие с государствами Ближнего Востока культурно-идеологические, геополитические и военно-стратегические характеристики, Турция потенциально находится в более выгодном положении по сравнению с другими странами региона и располагает значительными возможностями для того, чтобы стать региональным лидером.

Для реализации этого потенциала в 2000-е годы Анкара перешла от позиции стороннего наблюдателя ближневосточной политики, которая зиждилась на кемалистской формуле благородного невмешательства («мир внутри страны — мир во всем мире»)¹¹, к роли ее активного участника. Особенно рельефно это проявилось в экономической сфере: высокие показатели экономического роста на протяжении большей части 2000-х и начала 2010-х годов конвертировались в углубление связей со странами Ближнего Востока и их экономической и политической привязанности к Турции. Таким образом, выйдя из положения страны, «изолированной» от Ближнего Востока, Турция в 2000–2010-е годы в полной мере обрела статус регионального центра силы.

В основе стремлений Анкары выступать в роли регионального лидера в 2000–2010-е годы лежит ряд факторов структурного характера. Во-первых, благоприятная внутривнутриполитическая конъюнктура 2000-х годов: высокие показатели экономического роста, благополучный выход из финансового кризиса конца 1990-х годов, повышение благосостояния граждан (за годы правления ПСР турецкая экономика демонстрировала поразительные цифры ежегодного роста — от 5 до 9,5%, а также стабильное поступательное увеличение душевого дохода населения), укрепление позиций Турции на мировой арене (членство в G20, 17-я позиция

¹¹ Впервые эта фраза прозвучала в выступлении Мустафы Кемаля (Ататюрка) в 1931 г. во время его поездки по Анатолии. Так он сформулировал суть политики Народно-республиканской партии. См. подробнее: Atatürk M.K. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri. Cilt IV. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyanmaları (1917–1938). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 1991. S. 549–552. Впоследствии эта сентенция вошла в текст Конституции Турецкой Республики и до сих пор фигурирует в официальной концепции внешней политики, опубликованной на сайте турецкого МИД: Türkiye'nin Girişimci ve İnsani Dış Politikası // Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı. Available at: <http://www.mfa.gov.tr/genel-gorunum.tr.mfa> (accessed: 10.08.2019).

в рейтинге крупнейших экономик мира) и, как следствие, привлекательность для соседних стран¹² — всё это в совокупности формировало имидж Турции как показательного примера успешной политики для других государств региона, что в свою очередь подогревало стремление Анкары занять положение лидера на Ближнем Востоке [Shlykov, 2018]. Действительно, в 2000-е годы Турция, подобно странам БРИКС, формировала зону высоких показателей макроэкономического роста, что приковывало к ней внимание как близлежащих государств, так и западных стран [Bank, Karadağ, 2012: 5]. Во-вторых, экономические успехи Турции резко повысили ее торгово-экономический потенциал на региональном уровне, сформировался целый кластер турецкого бизнеса, ориентированного на развитие экономических отношений с Ближним Востоком. Совокупный объем товарооборота Турции с ближневосточными странами в 2010-е годы вырос на 25%, достигнув почти 56,5 млрд долл. в год, три четверти которых приходится на торговлю с Ираком, ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром¹³. Выступая в роли «государства-коммерсанта», как ее метко охарактеризовал Кемаль Киришчи [Kirişçi, 2009: 33], Турция смогла конвертировать плоды экономического развития в мощный инструмент «мягкой силы», с помощью которого наращивала симпатии к себе со стороны ближневосточных соседей [Dinçer, Kutlay, 2012]. При этом позитивное развитие отношений Анкары с ЕС, успехи в переговорном процессе с Брюсселем в первой половине 2000-х годов и прогресс в проведении реформ по демократизации способствовали формированию ощущения наличия у Турции серьезного потенциала влияния на региональные политические процессы.

¹² После публичной ссоры Реджепа Эрдогана с израильским премьером Шимоном Пересом на Давосском форуме 2009 г. и резкой критики политики Тель-Авива Эрдоган стал подлинным героем «арабской улицы»: опросы общественного мнения показывали, что значительная часть населения арабских стран хотела, чтобы их лидеры брали с него пример: Annual Arab public opinion survey 2011 // Anwar Sadat Chair for Peace and Development. University of Maryland. Available at: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/1121_arab_public_opinion.pdf (accessed: 10.08.2019).

¹³ Turkey's trade with Middle East, Gulf gains momentum despite crisis, soars over 22 percent // Daily Sabah. 27.04.2018. Available at: <https://www.dailysabah.com/economy/2018/04/28/turkeys-trade-with-middle-east-gulf-gains-momentum-despite-crisis-soars-over-22-percent> (accessed: 10.08.2019); Turkey's trade with Middle East // Hürriyet Daily News. 15.04.2019. Available at: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-trade-with-middle-east-surpasses-40-billion-142666> (accessed: 10.08.2019).

Политико-идеологическая ориентация правящего в Турции режима ПСР, его приверженность исламским ценностям привели к тому, что значение Ближнего Востока на шкале внешнеполитических приоритетов Анкары резко возросло. Неслучайно в конце 2000-х годов это выразилось в показательных демаршах в отношении Израиля и ряде аналогичных эпизодов накануне «арабской весны». В риторике турецкого руководства рост активности на ближневосточном направлении объяснялся тем, что Анкара стала «ведущей региональной державой, деятельность которой направлена на поддержание мира и процветания региона, стабильности и безопасности <...> помощи в создании регионального порядка, основанного на долговременной стабильности и поступательном развитии»¹⁴.

С уменьшением влияния военной элиты на внутри- и внешнеполитические процессы в Турции в 2000-е годы [Шлыков, 2011: 31–40] инструментарий реализации внешней политики одновременно расширился, обогатившись новыми технологиями и подходами, и «смягчился» за счет широкого применения методов «мягкой силы» и отказа от упования исключительно на военный потенциал [Larrabee, 2010]. Эти процессы выразились в повышении активности Анкары в программах и проектах международной помощи, инициативах в вопросах урегулирования международных конфликтов (по ядерной программе Ирана, ближневосточному урегулированию) и т.д.

Примечательно, что политика «турецкого глобализма» отражала не только амбиции регионального лидера, но и приверженность принципу многосторонних отношений [Bayer, Keuman, 2012: 75]. Избрание Экмеледдина Ихсаноглу на пост генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) в декабре 2004 г. и назначение Хюсейна Дириоза заместителем генсека НАТО по вопросам безопасности в октябре 2010 г. прямо свидетельствовали о стремлении Турции принять на себя одну из ведущих ролей в международных организациях. Причем турецкие власти прилагали усилия к максимальному расширению географии политического участия Анкары в международных структурах. В 2005 г. Турция добилась статуса страны-наблюдателя в Африканском союзе и ЛАГ, в 2008 г. стала стратегическим

¹⁴Turkey's enterprising and humanitarian foreign policy // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. Available at: <http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-turkish-foreign-policy.en.mfa> (accessed: 10.08.2019).

диалоговым партнером ССАГПЗ, а также подписала в 2010 г. с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договор о дружбе и сотрудничестве и в 2011 г. подала заявку на получение статуса диалогового партнера Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В 2000-е годы интерес к международным организациям и участию Турции в их работе обрел новое измерение: многосторонние институты стали рассматриваться турецким истеблишментом не просто как инструмент обеспечения национальной безопасности и включенности в международную повестку дня, но главным образом как способ наращивания своего веса и влияния на региональном уровне [Coşkun, Ediğ, 2012]. В ряду многосторонних международных организаций, которые в 2000–2010-е годы Турция активно использовала в конкурентной борьбе за региональное лидерство, особую роль играла платформа ООН. Турецкие политики открыто декларировали готовность использовать все доступные инструменты для превращения страны в региональный центр силы и ведущего игрока ключевых международных организаций, выдвигая экстравагантные идеи переноса в Стамбул штаб-квартиры ООН¹⁵ или формирования ближневосточного аналога Шенгенской зоны. «У Европы есть Шенген, а мы создаем Sham-gen [Шам–Левант. — *П.Ш.*]», — говорил в свое время Р.Т. Эрдоган [Kirişci, Kartanoğlu, 2011].

Активная деятельность турецкой дипломатии в период пребывания страны в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2009–2010 гг. и стремление вновь обрести этот статус в 2015–2016 гг. рельефно продемонстрировали, с одной стороны, всё возрастающее внимание Анкары к многосторонним институтам и международным организациям как эффективным инструментам обеспечения регионального доминирования, с другой — желание утвердиться в роли влиятельного игрока в рамках ООН. Пример этой организации крайне показателен с точки зрения того, каким образом и в каких масштабах в 2000–2010-е годы Турция использовала международные структуры для достижения базовых целей обеспечения своего регионального лидерства.

¹⁵ Istanbul should be center of UN: President Erdoğan // Hürriyet Daily News. 25.10.2016. Available at: <http://www.hurriyetdailynews.com/istanbul-should-be-center-of-un-president-erdogan-105336> (accessed: 10.08.2019).

Анкара не упускала малейшей возможности инициировать рассмотрение резолюций по узловым проблемам Ближнего Востока (палестино-израильскому конфликту, иранской ядерной программе и т.д.), проводила на своей территории масштабные конференции ООН и в целом прибегала ко всем доступным механизмам в рамках этой организации. Параллельно с этим в 2000-е годы Турция запустила масштабные международные проекты. В 2005 г. главы правительств Турции и Испании объявили о создании Альянса цивилизаций, который впоследствии при поддержке генсека ООН вошел в число ее инициатив¹⁶. В 2010 г. Турция совместно с Финляндией стала осуществлять проект по международному посредничеству в урегулировании конфликтов [Агас, 2012]. Активность Анкары на площадках ООН и в организации ее мероприятий в 2000-е годы получила высокую оценку руководства этой международной структуры. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун охарактеризовал Турцию как «государство, принявшее на себя ведущую роль в решении широкого спектра международных проблем — как миротворческих, так и международно-политических, заслужив право голоса по самым острым вопросам мировой политики»¹⁷.

Благодаря такой поддержке в 2000–2010-е годы Турция добилась негласного права принимать ключевые мероприятия ООН по ближневосточной тематике: в 2012 г. в Стамбуле прошли переговоры по иранской ядерной программе с участием постоянных членов Совета Безопасности¹⁸, в 2010 г. — конференция по оказанию помощи населению Палестины¹⁹, в 2011 г. — еще одна масштабная конференция по палестино-израильской проблеме²⁰. В мае 2011 г. на исторической 4-й конференции ООН по

¹⁶ United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC). Available at: <https://www.unaoc.org/who-we-are/> (accessed: 10.08.2019).

¹⁷ Ban arrives in Turkey to attend international summit on Somalia // UN News. 21.05.2010. Available at: <https://news.un.org/en/story/2010/05/339272-ban-arrives-turkey-attend-international-summit-somalia> (accessed: 10.08.2019).

¹⁸ Borger J. Iranian nuclear talks open in Istanbul // The Guardian. 14.04.2012. Available at <https://www.theguardian.com/world/julian-borger-global-security-blog/2012/apr/14/iran-nuclear-weapons> (accessed: 10.08.2019).

¹⁹ International Meeting on Israeli-Palestinian Peace Process opens in Istanbul spotlights path to ending occupation, building viable Palestinian State // United Nations. 2010. Available at: <https://www.un.org/press/en/2010/gapal1163.doc.htm> (accessed: 10.08.2019).

²⁰ Press release regarding the 'Palestinian Ambassadors' Conference' to be held in Istanbul on 23–24 July 2011 // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs.

развивающимся странам А. Давутоглу, занимавший тогда пост министра иностранных дел, заявил о планах Турции превратить Стамбул в «главный центр ООН по проведению переговоров по урегулированию международных проблем»²¹. И действительно, в 2010-е годы наиболее масштабные ооновские мероприятия состоялись в турецкой столице: в апреле 2012 г. там прошли переговоры между представителями Ирана и «шестерки» международных посредников²², в мае 2014 г. — международная встреча по вопросу статуса Иерусалима²³, а в 2016 г. — первый в истории ООН Всемирный гуманитарный форум²⁴.

Однако рост внутривластной напряженности в Турции способствовал тому, что страна, несмотря на все усилия, не смогла получить право на проведение ряда престижных международных мероприятий в середине 2010-х годов. Так, в 2013 г. на фоне массовых протестов «защитников парка Гези» Измиру отказали в возможности принять Экспо-2020. В это же время Турцию не включили в число наиболее перспективных рынков БРИКС в силу ограниченности ее финансово-экономического потенциала [Robins, 2014: 330]. В 2014 г. Анкаре не удалось добиться права вновь войти в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Ее заявка не получила необходимой поддержки, несмотря на все усилия турецкой делегации и убедительные речи А. Давутоглу о том, что «из 10 вопросов, обсуждаемых Совбезом, как минимум 8 или 9 напрямую касаются Турции <...> и Турция тем или иным образом могла бы сыграть позитивную роль в их решении <...> десять лет назад все было по-другому, а сейчас Турция

20.07.2011. No. 168. Available at: http://www.mfa.gov.tr/no_168_-20-july-2011_-press-release-regarding-the-_palestinian-ambassadors_-conference_-to-be-held-in-istanbul-on-23-24-july-2011.en.mfa (accessed: 10.08.2019).

²¹ Istanbul set to become regional hub for United Nations // Daily Sabah. 01.12.2014. Available at: <https://www.dailysabah.com/turkey/2014/12/01/istanbul-set-to-become-regional-hub-for-united-nations> (accessed: 10.08.2019).

²² New round of talks on Iran's nuclear program between Iran and P5+1 countries was held in Istanbul // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. Available at: <http://www.mfa.gov.tr/new-round-of-talks-on-Irans-nuclear-program-between-iran-and-P5-countries-was-held-in-istanbul.en.mfa> (accessed: 10.08.2019).

²³ International meeting on the question of Jerusalem kicks off in Ankara // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. Available at: <http://www.mfa.gov.tr/international-meeting-on-the-question-of-jerusalem-kicks-off-in-ankara.en.mfa> (accessed: 10.08.2019).

²⁴ World Humanitarian Summit. Available at: <https://www.agendaforhumanity.org/summit> (accessed: 10.08.2019).

хочет играть более весомую роль в ООН»²⁵. На голосовании в Генеральной Ассамблее из 192 стран заявку Анкары поддержали лишь 60, что резко контрастировало с результатом 2008 г., когда за Турцию проголосовало 151 государство²⁶.

Более того, против Турции выступили многие ближневосточные страны. Особенно активны в этом плане были представители Египта и Саудовской Аравии, что отражало рост негативного отношения к региональной политике Анкары на Ближнем Востоке в 2010-е годы [İdiz, 2014]. С 2013 г., когда в Египте в ходе военного переворота был свергнут президент Мухаммед Мурси (первый в истории страны законно избранный глава государства), турецко-египетские отношения пошли по нисходящей. Поскольку в начале 2010-х годов ПСР установила тесные контакты с египетскими «Братьями-мусульманами», Турция официально не признала правительство военных, пришедшее к власти в результате переворота, и не стала налаживать отношения с новым режимом в Каире. Разлад между странами непосредственно отразился и на сотрудничестве Турции с Саудовской Аравией, поддержавшей нового египетского президента А.Ф. ас-Сиси. Создававшаяся в середине 2010-х годов напряженность между Турцией и Египтом, с одной стороны, контрастировала с ситуацией 2000-х годов, с другой — вызывала реминисценции 1950-х годов и аналогичную атмосферу крайне натянутых отношений между режимом Гамаль Абдель Насера и правительством Турции.

Еще больший урон влиянию Анкары на Ближнем Востоке был нанесен неоднозначным участием Турции в разразившейся весной 2011 г. гражданской войне в Сирии. Призывы турецких

²⁵ Speech entitled 'Vision 2023: Turkey's Foreign Policy Objectives' delivered by H.E. Ahmet Davutoğlu. London, 22.11.2011. Ankara // Republic of Turkey. Ministry of Foreign Affairs. Available at: http://www.mfa.gov.tr/speech-entitled-_vision-2023_-turkey_s-foreign-policy-objectives_-delivered-by-h_e_-ahmet-davutoglu_-minister-of-foreign-af.en.mfa (accessed: 10.08.2019).

²⁶ Триумфальному голосованию 2008 г. предшествовала масштабная подготовка. Для получения необходимых голосов стран — членов ООН Абдуллах Гюль, возглавлявший турецкий МИД в 2003—2007 гг., и его преемник Али Бабаджан (2007—2009) провели переговоры и заручились поддержкой более 150 государств. Кроме того, правительство Турции инициировало открытие небывалого количества дипломатических представительств в Африке и регионах, ранее не входивших в сферу внешнеполитической активности Анкары. Помимо налаживания новых каналов дипломатических отношений была запущена масштабная программа помощи развивающимся странам в Африке и АТР.

политиков к свержению сирийского президента Башара Асада²⁷, малоэффективные усилия по созданию сирийской оппозиции и антиправительственных сил, поддержка планов международной интервенции в Сирии, а также проблема сирийских беженцев — всё это отчетливо показало ограниченность ресурсов и возможностей Турции по урегулированию самых острых проблем региона [Doğan, 2012]. Эмоциональная критика египетского президента А.Ф. ас-Сиси со стороны турецкого лидера Р.Т. Эрдогана только способствовала дальнейшей деградации потенциала регионального лидерства Турции и ее возможностей влиять на ситуацию на Ближнем Востоке [Öniş, 2014].

Аналогичные процессы проявились и в рамках международных организаций. Авторитет Турции в структурах ООН ощутимо снизился на фоне обострения внутривосточной ситуации — массовых протестов 2013 г., сворачивания реформ по демократизации, введения ограничений на базовые политические свободы и т.д.

В 2010-е годы с ростом нестабильности на Ближнем Востоке Турция продолжила политику выстраивания регионального порядка в соответствии со своими интересами, позиционируя себя в отношениях со странами региона в большей степени как лидер, а не партнер [Ayata, 2015: 97; Cook, Ibish, 2017: 3]. Ближневосточная политика Анкары, относительно успешная в 2000-е годы, когда Турция представлялась островком стабильности и моделью демократического исламского государства, в 2010-е годы имела крайне неоднозначные последствия.

Монархии Персидского залива рассматривали Турцию в качестве потенциального союзника в борьбе с влиянием Ирана и усилением шиитских стран. Однако после государственного переворота в Египте в 2013 г., который Анкара не признала, что спровоцировало ухудшение отношений одновременно с Каиром

²⁷ Erdoğan: Esad'a halkı da inanmıyor, biz de // BBC Turkey. 14.09.2011. Available at: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/09/110914_erdogan_syria (accessed: 10.08.2019); Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Esad' açıklaması // Hurriyet. 24.09.2015. Available at: <http://www.hurriyet.com.tr/dunya/cumhurbaskani-erdogandan-esad-aciklamasi-30154366> (accessed: 10.08.2019); Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad bir terrorist // Hurriyet. 27.12.2017. Available at: <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-esad-bir-terorist-40691792> (accessed: 10.08.2019); Turkey entered Syria to end al-Assad's rule: President Erdoğan // Hurriyet Daily News. 29.11.2016. Available at: <http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-entered-syria-to-end-al-assads-rule-president-erdogan-106709> (accessed: 10.08.2019).

и Эр-Риядом, ситуация повернулась на 180 градусов. Саудовская Аравия и ОАЭ решили наказать Турцию, устроив обструкцию ее дипломатическим инициативам и заморозив масштабные инвестиционные проекты в стране [Cook, Ibish, 2017: 5, 8].

Осложнение ситуации на Ближнем Востоке и рост негативных для Анкары тенденций способствовали осознанию политическим руководством Турции ограниченности потенциала влияния на региональные процессы. Пример Сирии, где турецкая политика отличалась ситуативностью и часто непоследовательностью, вызванной стремительно меняющейся конъюнктурой, очень показателен. Здесь рельефно проявилась негативная закономерность: чрезмерная активность Турции на сирийском направлении вызывала дополнительные риски национальной безопасности, но не вела к усилению страны в роли ключевого игрока в регионе и решению сирийской проблемы [Öniş, 2014: 211, 214].

Обострение конкурентного противостояния за влияние на ближневосточные процессы способствовало сближению Турции с Ираном в 2010-е годы. С одной стороны, эти страны нельзя назвать естественными союзниками, но с другой — очевидны совпадение ряда приоритетов в региональной политике и определенная общность взглядов на параметры выстраиваемого регионального порядка (по крайней мере, гораздо большее сходство в подходах, чем у Турции с Саудовской Аравией или Израилем). Отправная точка желаемого регионального порядка для Анкары — нахождение в его центре в качестве организующей и структурирующей силы Турции, а не США или любой другой нерегиональной державы. И в этом есть сходство с концептом справедливого регионального порядка без внешнего доминирования, которого придерживается Иран, по крайней мере в стремлении Турции к отстаиванию собственных интересов безотносительно их соответствия или несоответствия пожеланиям глобальных игроков — США, ЕС, России или Китая.

В целом в «повороте на Восток» внешней политики Турции достаточно рельефно проявилась идейно-политическая составляющая, поскольку он изначально опирался не только на развитие взаимовыгодного сотрудничества в сфере экономики, но также на цивилизационно-культурную близость и общее мусульманское происхождение, которое и должно было стать залогом укрепления политических связей («цивилизационная геополитика») [Pınar, 2004]. Примечательно, что аналогичные по

своей сути подходы были характерны для политики Анкары на центральноазиатском направлении в начале 1990-х годов, когда руководство страны всерьез говорило о создании Тюркского мира «от Адриатического моря до Великой китайской стены» [Шлыков, 2017: 60]. В трансформировавшемся виде эти идеи вернулись в повестку дня турецкой внешней политики в середине 2000-х годов, но объектом выступало уже ближневосточное, а не постсоветское пространство. По времени это совпало с еще одним важным процессом в политической жизни Турции — кризисом в отношениях с ЕС, переговоры с которым о вступлении фактически зашли в тупик. Большинство граждан Турции всё более скептически стали оценивать перспективы и выгоды от вступления в Евросоюз [Европейский союз в поиске глобальной роли, 2015: 240–265], а руководство страны приняло решение спустить на тормозах процесс евроинтеграции [Larrabee, 2010: 173] и сделать упор на национализм нового порядка — причудливое сочетание традиционных идеологических концептов пантюркизма, панисламизма и паносманизма в новой глобалистской оправе. Это выразилось в попытке капитализировать культурно-историческую близость в отношении Ближнего Востока, Центральной Азии и Балкан, в которой некоторые даже увидели стремление возродить Османскую империю [Sözen, 2010: 108]. «Стратегическая глубина» Турции, по выражению А. Давутоглу [Davutoglu, 2008], должна была обеспечить ее «центральное влияние» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Центральной Азии и на Южном Кавказе, в Восточной и Западной Азии.

Негативная для Турции динамика развития событий на Ближнем Востоке в 2010-е годы (в Египте, Сирии и др.) привела к тому, что активность Анкары в делах региона стала вызывать больше раздражения, чем поддержки со стороны других региональных держав, которые все чаще начали называть Турцию «новым империалистом»²⁸. Наиболее ярко это проявилось в изменившемся отношении к Анкаре у Саудовской Аравии и ОАЭ, которые в росте влияния Турции увидели угрозу своим интересам [Pala, Aras, 2015]. Неслучайно во время Катарского кризиса 2017 г. правительство Турции безоговорочно встало на сторону

²⁸ Waldman S.A. Balfour is history. The Middle East's new imperialists are Turkey and Iran // Haaretz. 01.11.2017. Available at: <https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-middle-east-s-new-imperialists-are-turkey-and-iran-1.5462045> (accessed: 10.08.2019).

Дохи, одновременно открыв линию поставок продовольствия в блокадный Катар и усилив свое военное присутствие в зоне Персидского залива за счет создания военных баз на территории эмирата. Весной 2018 г. Турция в дополнение к уже существующей сухопутной военной базе в Катаре договорилась с Дохой о создании военно-морской базы на севере страны²⁹. Наращивание военно-политического присутствия в регионе достигло немыслимых ранее масштабов. Военные вторжения на территорию Ирака (2008, 2015) и Сирии (2016, 2017, 2018), масштабные проекты по строительству военных баз в Персидском заливе и в Африке, наличие многочисленных очагов военного присутствия в Ираке и на севере Сирии [Sagnic, 2016] и амбициозные планы по разработке авианесущего крейсера для расширения боевых возможностей в Красном море и Индийском океане создали ощущение зарождения новой региональной стратегии Турции, воплощающей идеи превращения ее в государство, которое определяет характер «региональной подсистемы» международных отношений на Ближнем Востоке [Shlykov, 2018].

* * *

В последние два десятилетия на Ближнем Востоке наблюдается качественно новая международная ситуация, заключающаяся в становлении конкурентной полицентричности. На фоне относительного снижения американского влияния и его структурной трансформации на лидерство в регионе претендуют Турция, Иран, Израиль и Саудовская Аравия. Однако подобная полицентричность не приводит к формированию устойчивого баланса сил, поскольку объектом приложения конкурентной борьбы перечисленных держав становятся в первую очередь страны, столкнувшиеся с кризисом государственности.

Турция, которая большую часть своей республиканской истории позиционировала себя европейской страной, выступающей благодаря своему географическому положению естественным «мостом» между Европой и Азией, в 2000-е годы активно включилась в борьбу за влияние на Ближнем Востоке. С приходом к власти ПСР базовые концепции внешней политики подвер-

²⁹ Qatar signs Turkey naval military base agreement // Middle East Monitor (MEMO). 14.03.2018. Available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20180314-qatar-signs-turkey-naval-military-base-agreement/> (accessed: 10.08.2019).

лись ревизии, в результате чего появился сформулированный А. Давутоглу концепт Турции как «центральной державы», а к регионам приоритетных интересов (Центральная Азия, Кавказ) добавился Ближний Восток, где Анкара предполагала взять на себя роль силы, определяющей региональный порядок. Впечатляющий экономический рост в Турции в 2000-е годы и широкая поддержка населения способствовали повышению внешнеполитической активности Анкары на региональном уровне. Успехи турецкого бизнеса в сочетании с масштабной интернационализацией турецкого капитала выступили главными драйверами экспансии Турции в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Инструментами наращивания турецкого влияния в регионе стали инициативы в международных организациях (ООН, ОИС и др.), посредством которых Анкара пыталась закрепить за собой роль ключевой площадки для выработки решений региональных проблем.

Ближневосточная политика Турции, относительно успешная в 2000-е годы, когда страна представлялась островком стабильности и моделью демократического исламского государства, в 2010-е годы имела крайне неоднозначные последствия. К концу десятилетия проявились и явные противоречия, продуцируемые ростом региональных амбиций Анкары. В результате в настоящее время можно говорить о том, что Турция становится еще одним игроком, который усиливает, а не сглаживает конкурентный характер полицентричности на Ближнем Востоке.

Расчет Турции на успешную конвертацию накопленного в 2000-е годы позитивного потенциала «мягкой силы» и поддержки со стороны значительной части населения стран региона в базис эффективной политики наращивания регионального лидерства после «арабской весны» по многим параметрам не оправдался. Непредсказуемые по своей динамике и ходу развития события 2010-х годов отчетливо показали ограниченность возможностей турецкого правительства влиять на ближневосточные процессы, негативное воздействие которых напрямую отражается на самой Турции — ее внутривнутриполитической ситуации. И в этом смысле пример Турции крайне показателен и интересен в научно-теоретическом плане, поскольку дает свой вариант ответа на вопрос о пределах возможного влияния региональной державы на нестабильный и меняющийся региональный порядок.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Армии и безопасность на Ближнем Востоке и в Северной Африке / Под ред. Р.Ш. Мамедова, Т.А. Махмутова, О. Пыловой. М.: РСМД, 2019.
2. Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012.
3. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин. М.: ИВ РАН, 2018.
4. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталева М.А. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002.
5. Гринин Л.Е., Исаев Л.М., Коротаев А.В. Революции и нестабильность на Ближнем Востоке. М.: Учитель, 2015.
6. Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность / Под общ. ред. Ал.А. Громыко, М.Г. Носова. М.: Весь мир, 2015.
7. Звягельская И. Ближневосточный клинч: конфликты на Ближнем Востоке и политика России. М.: Аспект Пресс, 2014.
8. Карасова Т.А. Израиль и некоторые итоги «арабской весны» // Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012. С. 486–499.
9. Косач Г.Г. Саудовская Аравия // Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012. С. 356–376.
10. Россия в полицентричном мире / Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. М.: Весь мир, 2011.
11. Тренин Д.В. Россия на Ближнем Востоке: задачи, приоритеты, политические стимулы. Московский центр Карнеги. 2016. Доступ: <https://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388> (дата обращения: 10.08.2019).
12. Шлыков П.В. Военная элита в политической системе Турецкой Республики // Элиты стран Востока. М.: Ключ-С, 2011. С. 31–60.
13. Шлыков П.В. Евразийство и евразийская интеграция в политической идеологии и практике Турции // Сравнительная политика. 2017. № 1. С. 58–77. DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-58-76.
14. Abdo G. The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the Shi'a-Sunni divide. Center for Middle East Policy Analysis. Paper No. 29. Washington, D.C.: Brookings Institution, 2013. Available at: <https://www.brookings.edu/research/the-new-sectarianism-the-arab-uprisings-and-the-rebirth-of-the-shia-sunni-divide/> (accessed: 10.08.2019).
15. Abdo G. The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the Shi'a-Sunni divide. Oxford: Oxford University Press, 2016.
16. Altunışık M.B. Turkey's return to the Middle East // Regional powers in the Middle East. New constellations after the Arab revolts / Ed. by H. Fürtig. New York: Palgrave, 2014. P. 123–144.
17. Amour P.O. Israel, the Arab Spring, and the unfolding regional order in the Middle East: A strategic assessment // British Journal of Middle Eastern Studies. 2017. Vol. 44. No. 3. P. 293–309. DOI: 10.1080/13530194.2016.1185696.

18. Andersen L.E., Jiang Y. Is China challenging the US in the Persian Gulf? Danish Institute for International Studies Report. 2014. No. 29. Available at: https://www.diis.dk/files/media/documents/publications/diis_report_29_web.pdf (accessed: 10.08.2019).
19. Aras B. Turkey's mediation and friends of mediation initiative. Center for Strategic Research Papers. 2012. No. 4. Available at: <http://sam.gov.tr/turkeys-mediation-and-friends-of-mediation-initiative/> (accessed: 10.08.2019).
20. Arin K.Y. The AKP's foreign policy. Turkey's reorientation from the West to the East? Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2013.
21. Ayata B. Turkish foreign policy in a changing Arab world: Rise and fall of a regional actor? // Journal of European Integration. 2015. Vol. 37. No. 1. P. 95–112. DOI: 10.1080/07036337.2014.975991.
22. Ayres A. Continuity and change: The Trump administration's South Asia policies. Council on Foreign Relations. 2019. Available at: <https://www.cfr.org/blog/continuity-and-change-trump-administrations-south-asia-policies> (accessed: 10.08.2019).
23. Bank A., Karadağ R. The political economy of regional power: Turkey under the AKP. German Institute of Global and Area Studies. GIGA Working Papers. 2012. No. 204. Available at: https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp204_bank-karadag.pdf (accessed: 10.08.2019).
24. Bayer R., Keyman E.F. Turkey: An emerging hub of globalization and internationalist humanitarian actor? // Globalization. 2012. Vol. 9. No. 1. P. 73–90. DOI: 10.1080/14747731.2012.627721.
25. Berti B. Saudi brinkmanship in Lebanon. Carnegie Endowment for International Peace. 2016. Available at: <https://carnegieendowment.org/sada/63111> (accessed: 10.08.2019).
26. Buzan B., Waver O. Regions and powers: The structure of international security. London: Cambridge University Press, 2004.
27. Calabrese J. China and the Persian Gulf: Energy and security // The Middle East Journal. 1998. Vol. 52. No. 3. P. 351–366.
28. Cook S.A., Ibish H. Turkey and the GCC: Cooperation amid diverging interests. The Arab Gulf States Institute in Washington. 2017. Issue Paper No. 1. Available at: https://agsiw.org/wp-content/uploads/2017/02/GCCTurkey_ONLINE-2.pdf (accessed: 10.08.2019).
29. Coşkun B.B., Ediğ H.H. Uluslararası Örgütler ve Dış Politika: Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerde Artan Görünürlüğü [International organizations and foreign policy: The rising visibility of Turkey in the international organizations] // Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği [Theoretic approaches towards foreign politics: The case of Turkish foreign politics] / Ed. by E. Efeğil, M. Erol. Ankara: Barış Kitap, 2012. S. 325–346. (In Turkish.)
30. Darwich M. The ontological (in)security of similarity: Wahhabism versus Islamism in Saudi foreign policy. German Institute of Global Area Studies. GIGA Working Paper. 2014. No. 263. Available at: <https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp-263-online.pdf> (accessed: 10.08.2019).
31. Davutoglu A. Turkey's foreign policy vision: An assessment of 2007 // Insight Turkey. 2008. Vol. 10. No. 1. P. 77–96.
32. Demmelhuber T., Kaunert C. The EU and the Gulf monarchies: Normative power Europe in search of a strategy for engagement // Cambridge Review of International Affairs. 2014. Vol. 27. No. 3. P. 574–592. DOI: 10.1080/09557571.2013.855168.

33. Dinçer O.B., Kutlay M. Turkey's power capacity in the Middle East: Limits of the possible. USAK Center for Middle Eastern and African Studies. 2012. Available at: <https://www.pomed.org/wp-content/uploads/2012/06/Turkeys-Power-Capacity-in-the-Middle-East.pdf> (accessed: 10.08.2019).

34. Doğan E. A test for Turkey's foreign policy: The Syrian crisis. TESEV. 2012. Available at: http://tese.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/A_Test_For_Turkeys_Foreign_Policy_The_Syria_Crisis.pdf (accessed: 10.08.2019).

35. Evron Y. China's diplomatic initiatives in the Middle East: The quest for a greater-power role in the region // *International Relations*. 2015. Vol. 31. No. 2. P. 125–144. DOI: 10.1177/0047117815619664.

36. Feierstein G., Greathead C. The fight for Africa: The new focus of the Saudi-Iranian rivalry. *Middle East Institute Policy Focus*. 2017. No. 2. Available at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF2_Feierstein_AfricaSaudiIran_web_4.pdf (accessed: 10.08.2019).

37. *Foreign policies of Middle East states* / Ed. by R. Hinnebusch, A. Ehteshami. Boulder: Lynne Rienner, 2014.

38. Fuller G.E. The new Turkish Republic: Turkey as a pivotal state in the Muslim world. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2007.

39. Gause F.G. The foreign policy of Saudi Arabia // *Foreign policies of Middle East states* / Ed. by R. Hinnebusch, A. Ehteshami. Boulder: Lynne Rienner, 2014. P. 185–206.

40. Gerges F. The Obama approach to the Middle East: The end of America's moment? // *International Affairs*. 2013. Vol. 89. No. 2. P. 299–323.

41. Goldberg J. The Obama doctrine // *The Atlantic*. 2016 April. Available at: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/> (accessed: 10.08.2019).

42. Herzog M., Robins P. The role, position and agency of cusp states in international relations. London: Routledge, 2014.

43. Hinnebusch R. The Arab uprising and regional power struggle // *Routledge handbook of international relations in the Middle East* / Ed. by S. Akbarzadeh. New York: Routledge, 2019. P. 110–125.

44. Hinnebusch R. The Middle East regional system // *Foreign policies of Middle East states*. Boulder: Lynne Rienner, 2014. P. 35–74.

45. Hinnebusch R., Shama N. The foreign policy of Egypt // *Foreign policies of Middle East states* / Ed. by R. Hinnebusch, A. Ehteshami. Boulder: Lynne Rienner, 2014. P. 75–104.

46. Hudson M.C. The United States in the Middle East // *International relations of the Middle East*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. P. 356–389.

47. Hughes L., Long A. Is there an oil weapon? Security implication of changes in the structure of the international oil market // *International Security*. 2015. Vol. 39. No. 3. P. 152–189. DOI: 10.1162/ISEC_a_00188.

48. İdiz S. UN vote confirms Turkey's waning influence // *Al-Monitor*. 17.10.2014. Available at: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-united-nations-security-council-vote.html> (accessed: 10.08.2019).

49. Jones C. The foreign policy of Israel // *Foreign policies of Middle East states* / Ed. by R. Hinnebusch, A. Ehteshami. Boulder: Lynne Rienner, 2014. P. 289–314.

50. Kausch K. Competitive multipolarity in the Middle East // *The International Spectator*. 2015. Vol. 50. No. 3. P. 1–15. DOI: 10.1080/03932729.2015.1055927.

51. Kechichian J. Trends in Saudi national security // *The Middle East Journal*. 1999. Vol. 53. No. 2. P. 232–253.
52. Keyman E.F., Szak O. Turkey and Iran: The two modes of engagement in the Middle East // *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*. 2015. Vol. 17. No. 3. P. 321–336. DOI: 10.1080/19448953.2015.1063803.
53. Kirişçi K. The transformation of Turkish foreign policy: The rise of the trading state // *New Perspectives on Turkey*. 2009. Vol. 40. P. 29–56. DOI: 10.1017/S0896634600005203.
54. Kirişçi K., Kaptanoğlu N. The politics of trade and Turkish foreign policy // *Middle Eastern Studies*. 2011. Vol. 47. No. 5. P. 705–724. DOI: 10.1080/00263206.2011.613226.
55. Larrabee S.F. Turkey's new geopolitics // *Survival*. 2010. Vol. 52. No. 2. P. 157–180. DOI: 10.1080/00396331003764686.
56. Manyin M.E. et al. Pivot to the Pacific? The Obama administration's 'rebalancing' toward Asia. Congressional Research Service. Washington, 2012. Available at: <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf> (accessed: 10.08.2019).
57. Maoz Z. *Defending the Holy Land: A critical analysis of Israel's security and foreign policy*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009.
58. Mead W.R. The return of geopolitics: The revenge of the revisionist powers // *Foreign Affairs*. 2014. Vol. 93. No. 3. P. 69–79.
59. Meidan M., San A., Campbell R. *China: The 'new normal'*. Oxford: The Oxford Energy Institute, 2015. Available at: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/China-the-new-normal.pdf> (accessed: 10.08.2019).
60. Molavi A. China's global investments are declining everywhere except for one region. Three charts highlight Beijing's growing interest in the Middle East and North Africa // *Foreign Policy*. 2019. May 16. Available at: <https://foreignpolicy.com/2019/05/16/chinas-global-investments-are-declining-everywhere-except-for-one-region/> (accessed: 10.08.2019).
61. Öniş Z. Turkey and the Arab revolutions: Boundaries of regional power influence in a troubled Middle East // *Mediterranean Politics*. 2014. Vol. 19. No. 2. P. 203–219. DOI: 10.1080/13629395.2013.868392.
62. Öniş Z., Kutlay M. Rising powers in a changing global order: The political economy of Turkey in the age of BRICS // *Third World Quarterly*. 2013. Vol. 34. No. 8. P. 1409–1426. DOI: 10.1080/01436597.2013.831541.
63. Pala Ö., Aras B. Practical geopolitical reasoning in the Turkish and Qatari foreign policy in the Arab Spring // *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*. 2015. Vol. 17. No. 3. P. 286–302. DOI: 10.1080/19448953.2015.1063274.
64. Pinar B. A return to 'civilizational geopolitics' in the Mediterranean? Changing geopolitical images of the European Union and Turkey in the post-Cold War era // *Geopolitics*. 2004. Vol. 9. No. 2. P. 269–291. DOI: 10.1080/14650040490442863.
65. Potter G. Israel's construction of Iran as an existential threat // *Journal of Palestine Studies*. 2015. Vol. 47. No. 1. P. 43–62. DOI: 10.1525/jps.2015.45.1.43.
66. Pressman J. Power without influence: The Bush administration's foreign policy failure in the Middle East // *International Security*. 2009. Vol. 33. No. 4. P. 149–179. DOI: 10.1162/isec.2009.33.4.149.
67. Rabinovich I. *Israel and the changing Middle East*. Brookings Middle East Memo. 2015. No. 34. Available at: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Israel-Rabinovich-01292015-1.pdf> (accessed: 10.08.2019).

68. Robins P. The 2005 BRISMES lecture: A double gravity state: Turkish foreign policy reconsidered // *British Journal of Middle Eastern Studies*. 2006. Vol. 33. No. 2. P. 199–211. DOI: 10.1080/13530190600953351.
69. Robins P. The foreign policy of Turkey // *Foreign policies of Middle East states* / Ed. by R. Hinnebusch, A. Ehteshami. Boulder: Lynne Rienner, 2014. P. 315–338.
70. Sagnic C. Challenges to Turkey's military deployments abroad. *TurkeyScope. Insights on Turkish Affairs*. 2016. No. 1. Available at: <https://dayan.org/content/challenges-turkey%E2%80%99s-military-deployments-abroad> (accessed: 10.08.2019).
71. Salem P. The Middle East: Evolution of a broken regional order. *Carnegie Papers*. 2008. No. 9. Available at: https://carnegieendowment.org/files/cmec9_salem_broken_order_final.pdf (accessed: 10.08.2019).
72. Salloukh B.F. Sect supreme // *Foreign Affairs*. 2014. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2014-07-14/sect-supreme> (accessed: 10.08.2019).
73. Shlykov P. The 'Turkish model' in historical perspective // *Russia in Global Affairs*. 2018. Vol. 16. No. 2. P. 34–59.
74. Siniver A., Cabrera L. 'Good citizen Europe' and the Middle East peace process // *International Studies Perspective*. 2015. Vol. 16. P. 210–228. DOI: 10.1111/insp.12037.
75. Sözen A. A paradigm shift in Turkish foreign policy: Transition and challenges // *Turkish Studies*. 2010. Vol. 11. No. 1. P. 103–123. DOI: 10.1080/14683841003747062.
76. Stein E. Historical sociology and Middle East international relations // *Routledge handbook of international relations in the Middle East* / Ed. by S. Akbarzadeh. New York: Routledge, 2019. P. 46–58.
77. Taşpınar Ö. Turkey's Middle East policies: Between neo-Ottomanism and Kemalism. *Carnegie Endowment for International Peace*. 2008. Available at: <https://carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22209> (accessed: 10.08.2019).
78. Voller Y. From periphery to the moderates: Israeli identity and foreign policy in the Middle East // *Political Science Quarterly*. 2015. Vol. 130. No. 3. P. 505–535. DOI: 10.1002/polq.12360.
79. Volpi F. Islam, political Islam, and the state system // *Routledge handbook of international relations in the Middle East* / Ed. by S. Akbarzadeh. New York: Routledge, 2019. P. 69–81.
80. Yanık L. Constructing Turkish 'exceptionalism': Discourses of liminality and hybridity in post-Cold War Turkish foreign policy // *Political Geography*. 2011. Vol. 30. No. 2. P. 80–89. DOI: 10.1016/j.polgeo.2011.01.003.
81. Yavuz M.H. Turkish identity and foreign policy in flux: The rise of neo-Ottomanism // *Critique: Critical Middle Eastern Studies*. 1998. Vol. 7. No. 12. P. 19–41.
82. Youmans W.L. An unwilling client: How Hosni Mubarak's Egypt defied the Bush administration's 'freedom agenda' // *Cambridge Review of International Affairs*. 2016. Vol. 29. No. 4. P. 1209–1232. DOI: 10.1080/09557571.2015.1018137.

**COMPETITIVE MULTIPOLARITY IN THE MIDDLE EAST
AND THE TRANSFORMATION OF TURKEY'S
REGIONAL POLICIES IN THE 2000S AND 2010S**

*Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991*

The paper aims to decode the logic in the revisions of Turkey's regional policies during the 2000s and 2010s in respect to a wider context of the large-scale transformations in the Middle East and North Africa region. Methodologically the paper utilizes the concept of competitive multipolarity which allows to scrutinize the simultaneous manifestation, mutual entwinement and substantial opposition of the key trends in the development of the Middle East during the period under review. Against this background the paper examines the transformation processes in the Middle East on three interconnected levels — the global one, which reflects the alternations in the balance of power and the involvement patterns of the Global Powers in the Middle Eastern affairs; the regional one, which encompasses the relations between the main regional states; and the state level which allows to scrutinize the tangle interconnections between domestic and foreign policy imperatives of a particular Middle Eastern country. This analytical approach allowed to spotlight how both the relative decline of the American influence in the Middle East and the limited involvement in the regional developments of the EU, China and Russia contributed to the rising competitive interplay of the leading regional states with the regional leadership aspirations — namely Turkey, Iran, Israel and Saudi Arabia. However, this multipolarity did not result in a sustainable balance of power in the region because the acute competitive activity of the above mentioned regional powers has primarily focused on the states in deep political crisis or the ones which are almost failed states. In this respect the case of Turkey is of a special interest for the following reasons. Ankara's foreign policy in the 2000s and 2010s experienced large-scale transformations and pervasive changes. Partly abandoning its previous posture of a state deeply integrated in the Trans-Atlantic international relations and largely subordinated to the logic of these interrelations Turkey actively joined the struggle for the regional influence in the 2000s. Turkey's impressive economic growth and a wide popular support both domestically and abroad facilitated the rise of Ankara's foreign policy activities. The sound successes of Turkish business together with the large-scale internationalization of the Turkish capital have become the main drivers for Turkey's expansion in the Middle East and North Africa. Initially other regional actors perceived the increasing role of Turkey in the regional affairs more or less favorably. However, the end of the 2010s witnessed a number of international contradictions as a

result of Turkey's rising ambitions for regional hegemony. Consequently, Turkey now is turning out to become yet another regional power which is amplifying rather than smoothing away the destructive competitiveness of the Middle Eastern multipolarity.

Keywords: Middle East, Turkey, Iran, Saudi Arabia, Israel, Russia, the USA, the EU, competitive multipolarity, international organizations, multilateral institutions, regional order, regional security complex.

About the author: Pavel V. Shlykov — PhD (History), Associate Professor of the Middle East History Department, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University (e-mail: shlykov@iaas.msu.ru).

Acknowledgments: The research has been accomplished with a financial support from the Russian Science Foundation, project №17-18-01614.

REFERENCES

1. Mamedov R., Makhmutov T., Pylova O. (eds.). 2019. *Armii i bezopasnost' na Blizhnem Vostoke i v Severnoi Afrike* [Armies and security in the Middle East and North Africa]. Moscow, RIAC Publ. (In Russ.)
2. Naumkin V.V., Popov V.V., Kuznetsov V.A. (eds.). 2012. *Blizhnii Vostok, 'Arabaskoe probuzhdenie' i Rossiya: chto dal'she?* [The Middle East, 'Arab awakening' and Russia: What's next?]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
3. Baranovskii V.G., Naumkin V.V. (eds.). 2018. *Blizhnii Vostok v menyayushchemsya global'nom kontekste* [The Middle East in the changing global context]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
4. Bogaturov A.D., Kosolapov N.A., Khrustalev M.A. 2002. *Ocherki teorii i metodologii politicheskogo analiza mezhdunarodnykh otnoshenij* [Essays on theory and methodology in political analysis of international relations]. Moscow, NOFMO Publ. (In Russ.)
5. Grinin L.E., Isaev L.M., Korotaev A.V. 2015. *Revolutsii i nestabil'nost' na Blizhnem Vostoke* [Revolutions and instability in the Middle East]. Moscow, Uchitel' Publ. (In Russ.)
6. Gromyko A.I., Nosov M.G. (eds.). 2015. *Evropeiskii soyuz v poiske global'noi roli: politika, ekonomika, bezopasnost'* [European Union in search for global role: Politics, economy, security]. Moscow, Ves' mir Publ. (In Russ.)
7. Zvyagel'skaya I. 2014. *Blizhnevostochnyi klinch: konflikty na Blizhnem Vostoke i politika Rossii* [The Middle East clinch: Conflicts in the Middle East and the policy of Russia]. Moscow, Aspekt Press Publ. (In Russ.)
8. Karasova T.A. 2012. Izrail' i nekotorye itogi 'arabskoi vesny' [Israel and some results of the 'Arab Spring']. In Naumkin V.V., Popov V.V., Kuznetsov V.A. (eds.). *Blizhnii Vostok, 'Arabaskoe probuzhdenie' i Rossiya: chto dal'she?* [The Middle East, 'Arab awakening' and Russia: What's next?]. Moscow, IV RAN Publ., pp. 486–499. (In Russ.)
9. Kosach G.G. 2012. Saudovskaya Araviya [Saudi Arabia]. In Naumkin V.V., Popov V.V., Kuznetsov V.A. (eds.). *Blizhnii Vostok, 'Arabaskoe probuzhdenie' i Rossiya: chto dal'she?* [The Middle East, 'Arab awakening' and Russia: What's next?]. Moscow, IV RAN Publ., pp. 356–376. (In Russ.)

10. Dynkin A.A., Ivanova N.I. (eds.) 2011. *Rossiya v policentrichnom mire* [Russia in polycentric world]. Moscow, Ves' Mir Publ. (In Russ.)
11. Trenin D.V. 2016. *Rossiya na Blizhnem Vostoke: zadachi, priority, politicheskie stimuly* [Russia in the Middle East: Aims, priorities, political incentives]. Moscow, Moscow Carnegie Center. Available at: <https://carnegie.ru/2016/04/21/ru-pub-63388> (accessed: 10.08.2019). (In Russ.)
12. Shlykov P.V. 2011. Voennaya elita v politicheskoi sisteme Turetskoi Respubliki [Military elite in political system of Turkey]. In Geveling L.V., Drugov A.Yu. (eds.) *Elity stran Vostoka* [Elites of the Oriental states]. Moscow, Kljuch-S Publ., pp. 31–60. (In Russ.)
13. Shlykov P.V. 2017. Evraziistvo i evraziiskaya integratsiya v politicheskoi ideologii i praktike Turtsii [Eurasia and Eurasian integration in the political ideology and practice of Turkey]. *Comparative Politics*, no. 1, pp. 58–77. DOI: 10.18611/2221-3279-2017-8-1-58-76. (In Russ.)
14. Abdo G. 2013. *The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the Shi'a-Sunni divide*. Center for Middle East Policy Analysis. Paper No. 29. Washington, D.C., Brookings Institution. Available at: <https://www.brookings.edu/research/the-new-sectarianism-the-arab-uprisings-and-the-rebirth-of-the-shia-sunni-divide/> (accessed: 10.08.2019).
15. Abdo G. 2016. *The new sectarianism: The Arab uprisings and the rebirth of the Shi'a-Sunni divide*. Oxford, Oxford University Press.
16. Altunışık M.B. 2014. Turkey's return to the Middle East. In Fürtig H. (ed.). *Regional powers in the Middle East. New constellations after the Arab revolts*. New York, Palgrave, pp. 123–144.
17. Amour P.O. 2017. Israel, the Arab Spring, and the unfolding regional order in the Middle East: A strategic assessment. *British Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 44, no. 3, pp. 293–309. DOI: 10.1080/13530194.2016.1185696.
18. Andersen L.E., Jiang Y. 2014. *Is China challenging the US in the Persian Gulf?* Danish Institute for International Studies Report, no. 29. Available at: https://www.diis.dk/files/media/documents/publications/diis_report_29_web.pdf (accessed: 10.08.2019).
19. Aras B. 2012. *Turkey's mediation and friends of mediation initiative*. Center for Strategic Research Papers, no. 4. Available at: <http://sam.gov.tr/turkeys-mediation-and-friends-of-mediation-initiative/> (accessed: 10.08.2019).
20. Arin K.Y. 2013. *The AKP's foreign policy. Turkey's reorientation from the West to the East?* Berlin, Wissenschaftlicher Verlag Berlin.
21. Ayata B. 2015. Turkish foreign policy in a changing Arab world: Rise and fall of a regional actor? *Journal of European Integration*, vol. 37, no. 1, pp. 95–112. DOI: 10.1080/07036337.2014.975991.
22. Ayres A. 2019. *Continuity and change: The Trump administration's South Asia policies*. Council on Foreign Relations. Available at: <https://www.cfr.org/blog/continuity-and-change-trump-administrations-south-asia-policies> (accessed: 10.08.2019).
23. Bank A., Karadağ R. 2012. *The political economy of regional power: Turkey under the AKP*. German Institute of Global and Area Studies. GIGA Working Papers, no. 204. Available at: https://www.giga-hamburg.de/de/system/files/publications/wp204_bank-karadag.pdf (accessed: 10.08.2019).

24. Bayer R., Keyman E.F. 2012. Turkey: An emerging hub of globalization and internationalist humanitarian actor? *Globalization*, vol. 9, no. 1, pp. 73–90. DOI: 10.1080/14747731.2012.627721.
25. Berti B. *Saudi brinkmanship in Lebanon*. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: <https://carnegieendowment.org/sada/63111> (accessed: 10.08.2019).
26. Buzan B., Waver O. 2004. *Regions and powers: The structure of international security*. London, Cambridge University Press.
27. Calabrese J. 1998. China and the Persian Gulf: Energy and security. *The Middle East Journal*, vol. 52, no. 3, pp. 351–366.
28. Cook S.A., Ibish H. 2017. *Turkey and the GCC: Cooperation amid diverging interests*. The Arab Gulf States Institute in Washington. Issue Paper no. 1. Available at: https://agsiow.org/wp-content/uploads/2017/02/GCCTurkey_ONLINE-2.pdf (accessed: 10.08.2019).
29. Coşkun B.B., Ediğ H.H. 2012. Uluslararası Örgütler ve Dış Politika: Türkiye'nin Uluslararası Örgütlerde Artan Görünürlüğü [International organizations and foreign policy: The rising visibility of Turkey in the international organizations]. In Efeğil E., Erol M.S. (eds.). *Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği* [Theoretic approaches towards foreign politics: The case of Turkish foreign politics]. Ankara, Barış Kitap, pp. 325–346. (In Turkish.)
30. Darwich M. 2014. *The ontological (in)security of similarity: Wahhabism versus Islamism in Saudi foreign policy*. German Institute of Global Area Studies. GIGA Working Paper, no. 263. Available at: <https://www.giga-hamburg.de/en/system/files/publications/wp-263-online.pdf> (accessed: 10.08.2019).
31. Davutoglu A. 2008. Turkey's foreign policy vision: An assessment of 2007. *Insight Turkey*, vol. 10, no. 1, pp. 77–96.
32. Demmelhuber T., Kaunert C. 2014. The EU and the Gulf monarchies: Normative power Europe in search of a strategy for engagement. *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 27, no. 3, pp. 574–592. DOI: 10.1080/09557571.2013.855168.
33. Dinçer O.B., Kutlay M. 2012. *Turkey's power capacity in the Middle East: Limits of the possible*. USAK Center for Middle Eastern and African Studies. Available at: <https://www.pomed.org/wp-content/uploads/2012/06/Turkeys-Power-Capacity-in-the-Middle-East.pdf> (accessed: 10.08.2019).
34. Doğan E. 2012. *A test for Turkey's foreign policy: The Syrian crisis*. TESEV. Available at: http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/A_Test_For_Turkeys_Foreign_Policy_The_Syria_Crisis.pdf (accessed: 10.08.2019).
35. Evron Y. 2015. China's diplomatic initiatives in the Middle East: The quest for a greater-power role in the region. *International Relations*, vol. 31, no. 2, pp. 125–144. DOI: 10.1177/0047117815619664.
36. Feierstein G., Greathead C. 2017. *The fight for Africa: The new focus of the Saudi-Iranian rivalry*. Middle East Institute Policy Focus, no. 2. Available at: https://www.mei.edu/sites/default/files/publications/PF2_Feierstein_AfricaSaudi-Iran_web_4.pdf (accessed: 10.08.2019).
37. Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). 2014. *Foreign policies of Middle East states*. Boulder, Lynne Rienner.
38. Fuller G.E. 2007. *The new Turkish Republic: Turkey as a pivotal state in the Muslim world*. Washington, United States Institute of Peace Press.

39. Gause F.G. 2014. The foreign policy of Saudi Arabia. In Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). *Foreign policies of Middle East states*. Boulder, Lynne Rienner, pp. 185–206.
40. Gerges F. 2013. The Obama approach to the Middle East: The end of America's moment? *International Affairs*, vol. 89, no. 2, pp. 299–323.
41. Goldberg J. 2016. The Obama doctrine. *The Atlantic*. Available at: <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/> (accessed: 10.08.2019).
42. Herzog M., Robins P. 2014. *The role, position and agency of cusp states in international relations*. London, Routledge.
43. Hinnebusch R. 2019. The Arab uprising and regional power struggle. In Akbarzadeh S. (ed.). *Routledge handbook of international relations in the Middle East*. New York, Routledge, pp. 110–125.
44. Hinnebusch R. 2014. The Middle East regional system. In Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). *Foreign policies of Middle East states*. Boulder, Lynne Rienner, pp. 35–74.
45. Hinnebusch R., Shama N. 2014. The foreign policy of Egypt. In Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). *Foreign policies of Middle East states*. Boulder, Lynne Rienner, pp. 75–104.
46. Hudson M.C. 2016. The United States in the Middle East. In Fawcett L. (ed.). *International relations of the Middle East*. 4th ed. Oxford, Oxford University Press, pp. 356–389.
47. Hughes L., Long A. 2015. Is there an oil weapon? Security implication of changes in the structure of the international oil market. *International Security*, vol. 39, no. 3, pp. 152–189. DOI: 10.1162/ISEC_a_00188.
48. İdiz S. 2014. UN vote confirms Turkey's waning influence. *Al-Monitor*. Available at: <https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/10/turkey-united-nations-security-council-vote.html> (accessed: 10.08.2019).
49. Jones C. 2014. The foreign policy of Israel. In Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). *Foreign policies of Middle East states*. Boulder, Lynne Rienner, pp. 289–314.
50. Kausch K. 2015. Competitive multipolarity in the Middle East. *The International Spectator*, vol. 50, no. 3, pp. 1–15. DOI: 10.1080/03932729.2015.1055927.
51. Kechichian J. 1999. Trends in Saudi national security. *The Middle East Journal*, vol. 53, no. 2, pp. 232–253.
52. Keyman E.F., Sazak O. 2015. Turkey and Iran: The two modes of engagement in the Middle East. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, vol. 17, no. 3, pp. 321–336. DOI: 10.1080/19448953.2015.1063803.
53. Kirişçi K. 2009. The transformation of Turkish foreign policy: The rise of the trading state. *New Perspectives on Turkey*, vol. 40, pp. 29–56. DOI: 10.1017/S0896634600005203.
54. Kirişçi K., Kaptanoğlu N. 2011. The politics of trade and Turkish foreign policy. *Middle Eastern Studies*, vol. 47, no. 5, pp. 705–724. DOI: 10.1080/00263206.2011.613226.
55. Larrabee S.F. 2010. Turkey's new geopolitics. *Survival*, vol. 52, no. 2, pp. 157–180. DOI: 10.1080/00396331003764686.
56. Manyin M.E. et al. 2012. *Pivot to the Pacific? The Obama administration's 'rebalancing' toward Asia*. Congressional Research Service. Washington. Available at <http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf> (accessed: 10.08.2019).

57. Maoz Z. 2009. *Defending the Holy Land: A critical analysis of Israel's security and foreign policy*. Ann Arbor, University of Michigan Press.
58. Mead W.R. 2014. The return of geopolitics: The revenge of the revisionist powers. *Foreign Affairs*, vol. 93, no. 3, pp. 69–79.
59. Meidan M., San A., Campbell R. 2015. *China: The 'new normal'*. Oxford, The Oxford Energy Institute. Available at: <https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2015/02/China-the-new-normal.pdf> (accessed: 10.08.2019).
60. Molavi A. 2019. China's global investments are declining everywhere except for one region. Three charts highlight Beijing's growing interest in the Middle East and North Africa. *Foreign Policy*. Available at: <https://foreignpolicy.com/2019/05/16/chinas-global-investments-are-declining-everywhere-except-for-one-region/> (accessed: 10.08.2019).
61. Öniş Z. 2014. Turkey and the Arab revolutions: Boundaries of regional power influence in a troubled Middle East. *Mediterranean Politics*, vol. 19, no. 2, pp. 203–219. DOI: 10.1080/13629395.2013.868392.
62. Öniş Z., Kutlay M. 2013. Rising powers in a changing global order: The political economy of Turkey in the age of BRICS. *Third World Quarterly*, vol. 34, no. 8, pp. 1409–1426. DOI: 10.1080/01436597.2013.831541.
63. Pala Ö., Aras B. 2015. Practical geopolitical reasoning in the Turkish and Qatari foreign policy in the Arab Spring. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, vol. 17, no. 3, pp. 286–302. DOI: 10.1080/19448953.2015.1063274.
64. Pınar B. 2004. A return to 'civilizational geopolitics' in the Mediterranean? Changing geopolitical images of the European Union and Turkey in the post-Cold War era. *Geopolitics*, vol. 9, no. 2, pp. 269–291. DOI: 10.1080/14650040490442863.
65. Potter G. 2015. Israel's construction of Iran as an existential threat. *Journal of Palestine Studies*, vol. 47, no. 1, pp. 43–62. DOI: 10.1525/jps.2015.45.1.43.
66. Pressman J. 2009. Power without influence: The Bush administration's foreign policy failure in the Middle East. *International Security*, vol. 33, no. 4, pp. 149–179. DOI: 10.1162/isec.2009.33.4.149.
67. Rabinovich I. 2015. *Israel and the changing Middle East*. Brookings Middle East Memo, no. 34. Available at: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Israel-Rabinovich-01292015-1.pdf> (accessed: 10.08.2019).
68. Robins P. 2006. The 2005 BRISMES lecture: A double gravity state: Turkish foreign policy reconsidered. *British Journal of Middle Eastern Studies*, vol. 33, no. 2, pp. 199–211. DOI: 10.1080/13530190600953351.
69. Robins P. 2014. The foreign policy of Turkey. In Hinnebusch R., Ehteshami A. (eds.). *Foreign policies of Middle East states*. London, Lynne Reinner, pp. 315–338.
70. Sagnic C. 2016. Challenges to Turkey's military deployments abroad. *Turkey Scope. Insights on Turkish Affairs*, no. 1. Available at: <https://dayan.org/content/challenges-turkey%E2%80%99s-military-deployments-abroad> (accessed: 10.08.2019).
71. Salem P. 2008. *The Middle East: Evolution of a broken regional order*. Carnegie Papers, no. 9. Available at: https://carnegieendowment.org/files/cmec9_salem_broken_order_final.pdf (accessed: 10.08.2019).
72. Salloukh B.F. 2014. Sect supreme. *Foreign Affairs*. Available at: <https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2014-07-14/sect-supreme> (accessed: 10.08.2019).
73. Shlykov P. 2018. The 'Turkish model' in historical perspective. *Russia in Global Affairs*, vol. 16, no. 2, pp. 34–59.

74. Siniver A., Cabrera L. 2015. 'Good citizen Europe' and the Middle East peace process. *International Studies Perspective*, vol. 16, pp. 210–228. DOI: 10.1111/insp.12037.
75. Sözen A. 2010. A paradigm shift in Turkish foreign policy: Transition and challenges. *Turkish Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 103–123. DOI: 10.1080/14683841003747062.
76. Stein E. 2019. Historical sociology and Middle East international relations. In Akbarzadeh S. (ed.). *Routledge handbook of international relations in the Middle East*. New York, Routledge, pp. 46–58.
77. Taşpınar Ö. 2008. *Turkey's Middle East policies: Between neo-Ottomanism and Kemalism*. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: <https://carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=22209> (accessed: 10.08.2019).
78. Voller Y. 2015. From periphery to the moderates: Israeli identity and foreign policy in the Middle East. *Political Science Quarterly*, vol. 130, no. 3, pp. 505–535. DOI: 10.1002/polq.12360.
79. Volpi F. 2019. Islam, political Islam, and the state system. In Akbarzadeh S. (ed.). *Routledge handbook of international relations in the Middle East*. New York, Routledge, pp. 69–81.
80. Yanık L. 2011. Constructing Turkish 'exceptionalism': Discourses of liminality and hybridity in post-Cold War Turkish foreign policy. *Political Geography*, vol. 30, no. 2, pp. 80–89. DOI: 10.1016/j.polgeo.2011.01.003.
81. Yavuz M.H. 1998. Turkish identity and foreign policy in flux: The rise of neo-Ottomanism. *Critique: Critical Middle Eastern Studies*, vol. 7, no. 12, pp. 19–41.
82. Youmans W.L. 2016. An unwilling client: How Hosni Mubarak's Egypt defied the Bush administration's 'freedom agenda'. *Cambridge Review of International Affairs*, vol. 29, no. 4, pp. 1209–1232. DOI: 10.1080/09557571.2015.1018137.

Д.В. Жигульская*

**ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНИМОСТИ «ТУРЕЦКОЙ МОДЕЛИ»
В ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
ПОСЛЕ «АРАБСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ»:
ПРИМЕР ЕГИПТА****

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования*

*«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
119991, Москва, Ленинские горы, 1*

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт востоковедения Российской академии наук»
107031, Москва, ул. Рождественка, 12*

Болезненные трансформационные процессы, запущенные на Ближнем Востоке событиями «Арабского пробуждения», не только столкнули государства региона с новыми вызовами безопасности, но и открыли перед некоторыми из них новые возможности для реализации лидерских амбиций, укрепления своих стратегических позиций, в том числе с опорой на нетрадиционные методы и инструменты. В этом отношении отдельного рассмотрения заслуживают попытки Турции использовать интерес пришедших к власти на волне революционных выступлений правительств ряда стран к перениманию турецкого опыта в области государственностроительства. Воплощением этих попыток стала концепция «турецкой модели». Наибольшую активность в имплементации этой модели в начале 2010-х годов проявил Египет. В статье рассмотрены факторы, обусловившие повышенное внимание правительства М. Мурси к опыту Анкары, и причины, которые в конечном счете привели к провалу попыток использования «турецкой модели» в египетских реалиях и последующему резкому ухудшению двусторонних отношений. В первой части статьи выявлены ключевые характеристики «турецкой модели». В частности, автор отмечает, что базовую роль в ней играет нахождение оптимального баланса между религиозным и светским началом в общественной жизни. Во второй части

* Жигульская Дарья Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры стран Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, старший научный сотрудник отдела истории Востока Института востоковедения РАН (e-mail: dvzhigulskaya@gmail.com).

** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01614 «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз».

рассмотрены попытки правительства М. Мурси имплементировать «турецкую модель» в Египте в первой половине 2010-х годов. Автор показывает, что основными причинами ее привлекательности для нового египетского руководства были экономические и политические успехи Турции в 1990–2000-е годы, выразившиеся в высоких темпах экономического роста и увеличения иностранных инвестиций, а также в успешном сочетании идей политического ислама с демократическими институтами западного образца. В то же время, как заключает автор, правительство М. Мурси не приняло достаточных мер, направленных на реформирование экономики, социальной и политической системы, что в совокупности с отсутствием единства во взглядах на «турецкую модель» внутри «Братьев-мусульман», ростом народного недовольства и негативным отношением к декларируемому новому курсу египетского руководства со стороны ряда влиятельных региональных игроков привело к военному перевороту и сворачиванию всех попыток дальнейшей имплементации турецкого опыта. В третьей части кратко обрисованы последствия военного переворота 2013 г. для турецко-египетских отношений. Автор заключает, что обращение к египетскому кейсу позволяет рельефно обозначить пределы применимости «турецкой модели» в ближневосточных государствах в современных условиях, а также дополнительно подсветить существующие ограничители для реализации Турцией своих лидерских амбиций в регионе.

Ключевые слова: Турецкая Республика, Арабская Республика Египет, «Арабское пробуждение», «турецкая модель», «Братья-мусульмане», Партия справедливости и развития, политический ислам, секуляризм, Реджеп Тайип Эрдоган, Хосни Мубарак, Мухаммед Мурси, Абдель Фаттах ас-Сиси.

Возникновение и семантические особенности термина «турецкая модель»

Термин «турецкая модель» приобрел популярность в начале 1990-х годов. Именно тогда впервые была артикулирована идея, согласно которой Турция может выступить в качестве своеобразного образца в процессе национального строительства в бывших республиках Советского Союза в Центральной Азии и на Кавказе. Среди преимуществ «турецкой модели» прежде всего отмечали светский режим современной Турции, многопартийную систему, сотрудничество с Западом и рыночную экономику [Sengupta, 2014: 4].

Вместе с тем необходимо отметить, что в научной среде не существует полного консенсуса в отношении термина «турецкая модель» [Ozkaleli, Konuloglu Ozkaleli, 2003]. Его восприятие во многом субъективно и зависит от «угла зрения смотрящего». Главным дискуссионным вопросом, красной нитью проходящим через все исследования по этой теме, остается поиск баланса между двумя формирующими элементами «турецкой модели» — кемалистской идеологией и исламом.

Зачастую предпосылки возникновения «турецкой модели» относят к периоду Танзимата (1839–1876). Так, И. Бал отмечает, что многочисленные реформы, предпринятые в ходе процесса вестернизации в Османской империи, заложили основу для дальнейших преобразований режима Ататюрка. При этом явление, известное сегодня под термином «турецкая модель», приобрело свои очертания в период с 1923 по 1928 г. [Bal, 2000].

В основе «турецкой модели» заложен принцип секуляризма. Важно отметить, что турецкий секуляризм аналогичен французскому лаицизму, т.е. не просто разделяет государство и религию, но подчиняет последнюю государству. И хотя сегодня подавляющее большинство населения страны поддерживает такую интерпретацию принципа секуляризма, споры вокруг его трактовок не прекращаются. В частности, видение правящей Партии справедливости и развития (ПСР) существенно отличается от понимания этого явления кемалистами [Kuru, 2006]. Так, ПСР придерживается точки зрения, что религия может быть инкорпорирована в общественную и политическую сферы без ущерба светскому характеру государственной системы. Кемалисты, напротив, заявляют, что секуляризм в стране находится под угрозой, пока с ним экспериментируют люди, для которых исламские референции имеют большое значение. В этом споре первоочередной задачей является установление границ между общественной и личной сферами [White, 2005].

Известно, что процесс модернизации в Турции, который был проектом кемалистского режима, производился «сверху вниз», неизбежно порождая различные противоречия. Кемализм стремился создать «современную Турцию», где привязанность к традиционным ценностям, таким как религия или этническое происхождение, виделась иррациональной, и ставил перед собой задачу формирования порядка, отвечающего принципам развитой западной цивилизации [Ciddi, 2009]. В частности, кемализм традиционно придерживался классической концепции

современности, согласно которой модернизация представляет собой процесс, предполагающий рациональную реорганизацию всех сфер общественной жизни [Habermas, 1981].

В отношении религии республиканское правительство использовало двойной дискурс: с одной стороны, установило четкое разделение между исламом и политической сферой, с другой — инкорпорировало различными способами исламские нарративы в систему. После провозглашения республики была предпринята попытка отделить регрессивное течение в исламе от прогрессивного, которое должно было стать опорой и инструментом дальнейшей модернизации. При этом важно иметь в виду, что турецкий ислам всегда находился под сильным влиянием суфийской традиции. Благодаря этому факту, как отмечают исследователи, исламу в Турции всегда были чужды радикальные формы интерпретации религии [Yavuz, 2004]. «Инструментализация» ислама в стране продолжалась до начала 1990-х годов. В этот период значительно поменялось отношение государства к религии, исламские понятия были интегрированы в политический процесс, а популярность стала приобретать постмодернистская критика кемалистской модели.

Представляется целесообразным заключить: «турецкая модель» является результатом сложных и многоаспектных отношений между исламом и республиканским режимом. Политику, культуру и национальную идентичность в современной Турции нельзя рассматривать вне этого контекста. В то время как исламизм и кемализм представляют собой соперничающие идеологии с собственным видением общества и идентичности, они оказываются теснейшим образом переплетенными в генезисе сегодняшней Турции [Cerami, 2013: 146]. Конфликт между современным и доmodernым, основными правами и свободами человека и авторитаризмом продолжается до сих пор наряду со стремлением найти гармоничный баланс между соперничающими парадигмами Востока и Запада [Javaid, Waqi Sajjad, 2015: 316].

Возможности имплементации «турецкой модели» в других странах мусульманского мира стали особенно активно обсуждаться в период, последовавший за трагедией 11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. В это время межкультурный диалог воспринимался западными элитами в качестве императива и гаранта мирового порядка и безопасности. Турция выглядела в этой связи особенно привлекательно как пример успешного объединения исламской культурной идентичности с политической

демократией, экономикой свободных рынков и прозападной внешнеполитической ориентацией¹ [Taşpınar, 2012].

Подобный всплеск интереса к «турецкой модели» наблюдался затем в период «арабской весны», когда международное сообщество вновь обратилось к Турции в качестве «модельного объекта» для стран Ближнего Востока, пытавшихся найти свой путь к демократии [Brunwasser, 2011]. Выдвигался тезис о том, что турецкий пример несет «демонстративный эффект» и важен с точки зрения перенимания опыта постепенной трансформации и поэтапной демократизации [Ulgen, 2011]. Важно, что «турецкая модель», которую поддерживал Запад, также приобрела широкий круг сторонников в арабских странах. Так, опрос Турецкой ассоциации экономических и социальных исследований (TESEV), проведенный в 2010–2012 гг., показал, что примерно 60% арабов видели Турцию в качестве модели, которая сможет сыграть конструктивную роль в трансформации региона².

Результаты опроса, выполненного в рамках проекта «Арабский барометр» (2011), также подтверждают эту идею. Согласно опросу жители арабских стран оценивали режим в Турции как умеренно демократический со средним показателем 6,4 (где 0 — минимальный порог; 10 — максимальный критерий). Примечательно, что показатель уровня демократии в США в том же исследовании составил 7,3, т.е. лишь на 0,9 выше, чем в Турции. Из этого можно сделать вывод, что опрошиваемые оценивали турецкую демократию как практически равную американской [Ceyhun, 2018].

При этом стоит отметить, что наряду с довольно «романтической» интерпретацией перспектив применения «турецкой модели» в странах Ближнего Востока встречаются и гораздо более критические оценки активной политики Турции в регионе. Так, существует мнение, что Анкара была не слишком заинтересована в построении политических и институциональных систем турецкого типа во всем Ближневосточном регионе, а скорее стремилась к признанию своего лидерства основными политическими игроками, такими как Саудовская Аравия и Иран, а также западными силами — США и ЕС. «Турецкая модель» при

¹ Dagi I.D. Islamic identity in post Kemalist Turkey and the West // Today's Zaman. 16.03.2009. Available at: <http://ihsandagi.blogspot.com/2009/03/islamic-identity-in-post-kemalist.html> (accessed: 22.05.2019).

² Kirişçi K. The rise and fall of Turkey as a model for the Arab World // Brookings. 15.08.2013. Available at: <http://www.brookings.edu/research/opinions/2013/08/15-rise-and-fall-turkey-model-middle-east> (accessed: 21.05.2019).

этом использовалась в качестве инструмента в борьбе за влияние [Ayooob, 2011; Ennis, Momani, 2013; Göksel, 2013]. Еще одним важным мотивом во внешней политике Анкары после «арабской весны» было укрепление сотрудничества в экономической и политической сферах с новоизбранными демократическими режимами. Этому способствовало и то, что ПСР традиционно выступала с осуждением авторитарных правительств, тем самым увеличивая популярность внутри страны и за рубежом [Işıksal, 2018: 22].

Однако, несмотря на большие надежды, возлагавшиеся на «турецкую модель» как Западом, так и самими арабскими странами, находившимися в процессе трансформации, она не стала универсальным решением на Ближнем Востоке (так же, как в 1990-х годах не прижилась на постсоветском пространстве). Турбулентный период после 2011 г. поставил под сомнение достоинства «турецкой модели» как таковой [Torelli, 2018]. Причина неудач обусловлена широким спектром факторов, в том числе политическими, социальными и культурными особенностями каждой страны в отдельности. Далее, в частности, будет рассмотрен пример Египта как один из наиболее репрезентативных. При этом целесообразно, на наш взгляд, вписать «турецкую модель» в более широкий контекст развития двусторонних отношений до настоящего времени. Представляется, что именно неудача в реализации «модели» стала одной из причин, негативно повлиявших на современное состояние турецко-египетских связей.

«Турецкая модель» в политической конъюнктуре Египта после революции 2011 г.

Вопрос применимости «турецкой модели» стал одним из важнейших в политической повестке дня арабских стран после волны революций 2011 г. и существенно повлиял на формирование их отношений с Турецкой Республикой. После череды протестов, которые охватили многие арабские страны, вакуум власти быстро заполнили политические игроки с исламской идеологией. Они стали рассматривать «турецкую модель» как своеобразный пример и искать пути ее перенимания и адаптации к новым постреволюционным реалиям. Сочетание политического ислама и идей социального равенства со стратегией либерализма в политической программе правящей в Турции ПСР были, как отмечают некоторые исследователи, главными критериями привлекательности «турецкой модели» [Akkoyunlu et al., 2013: 9]. В свою очередь турецкое правительство намеревалось изменить баланс

сил на Ближнем Востоке, в том числе за счет распространения своей модели демократии в страны с новыми режимами. Ахмет Давутоглу, занимавший в то время пост министра иностранных дел, в своей книге «Стратегическая глубина: международное положение Турции» [Davutoğlu, 2010] определил ключевую роль Египта, Турции и Ирана в развитии региона, а также выдвинул новую внешнеполитическую концепцию «ноль проблем с соседями», согласно которой Анкара должна была создать вокруг себя пояс дружественных государств³.

Для нового руководства Египта, пришедшего к власти после свержения Х. Мубарака, турецкая политическая модель была привлекательна также и тем, что она потенциально могла позволить расширить социальную и избирательную базу режима, включив в нее самые широкие слои населения [Dede, 2011]⁴. Примечательно, что еще в июле 2007 г. после победы ПСР на парламентских выборах руководитель «Братьев-мусульман» Мухаммед Махди Акеф направил поздравительное послание премьер-министру Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором охарактеризовал выборы как «возможность для исламских партий достичь конституционного, политического и экономического развития и проводить социальные реформы». Он также подчеркнул, что «опыт турецкой Партии справедливости и развития показателен и является примером того, как исламские партии в здоровой и свободной политической среде могут достичь высоких результатов»⁵. «Братья-мусульмане» заявляли, что «умеренность» ПСР служит примером для исламского движения в Египте. На их взгляд, турецкие власти предложили альтернативный путь между светскими авторитарными правительствами и радикальными исламистами, став образцом того, как партия с исламскими референциями через институциональные ограничения может быть включена в демократический процесс⁶ [Tol, 2012:

³ Davutoğlu A. Turkey's zero-problems foreign policy // Foreign Policy. 20.05.2010. Available at: <https://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/> (accessed: 28.05.2019).

⁴ Sallam H. Obsessed with Turkish models in Egypt // Jadaliyya. 30.06.2013. Available at: <https://www.jadaliyya.com/Details/28879/Obsessed-with-Turkish-Models-in-Egypt> (accessed: 23.05. 2019).

⁵ Lessons from Turkey. The victory of Turkey's Islamists at the polls continues to reverberate in Egypt. Amira Howeidly finds out why // Al-Ahram Weekly. 01.08.2007. Available at: <http://weekly.ahram.org.eg/Archive/2007/855/eg8.htm> (assessed: 28.05.2019).

⁶ Karaveli H.M., Svante C.E. Turkey and the Middle Eastern revolts: Democracy or Islamism? // Turkey Analyst. 2011. № 4 (3). Available at: <https://www.turkeyanalyst.com>

352; Torelli, 2018]. Кроме того, симпатии среди членов «Братьев-мусульман» вызывали и попытки ПСР еще до «арабской весны» отстаивать интересы палестинцев.

Таким образом, сближение и укрепление дипломатических, военных и экономических связей между Турцией и Египтом после прихода там к власти «Братьев-мусульман» были вполне ожидаемыми.

Действительно, Р.Т. Эрдоган был одним из первых мировых лидеров, который поддержал революции и становление новых демократических режимов в арабских странах. В сентябре 2011 г. он отправился в турне по государствам, которые пережили «арабскую весну»: Египту, Ливии и Тунису. Во время визита в Каир Р.Т. Эрдоган выразил надежду на то, что Египет последует по пути демократии и светскости, который не подразумевает отказа от религиозных ценностей, а, наоборот, призывает уважать все религии [Stein, 2014]. Однако предложение турецкого премьер-министра было встречено неоднозначно, обозначив раскол внутри «Братьев-мусульман». Так, некоторые представители движения восприняли заявление Р.Т. Эрдогана как вмешательство во внутренние дела Египта, подчеркивая невозможность (и недопустимость) перенимания светской «турецкой модели» и указывая на шариат как единственно приемлемый в египетских условиях источник права⁷. Этот факт говорит о том, что среди членов «Братьев-мусульман» не было полного согласия в отношении будущего страны.

Тем не менее в сентябре 2012 г. новоизбранный президент Египта Мухаммед Мурси прибыл в Анкару для участия в очередном съезде ПСР. Он поддержал политику Турецкой Республики и оценил ее демократические достижения как «источник вдохновения для стран Ближнего Востока». М. Мурси также обозначил участие Турции в политических процессах региона как «необходимое для экономического и социального восстановления арабских стран после революций». Р.Т. Эрдоган в свою очередь также заявил, что «правящая политическая партия стала примером для других мусульманских государств»⁸.

[org/publications/turkey-analyst-articles/item/248-turkey-and-the-middle-eastern-revolts-democracy-or-islamism?.html](http://publications/turkey-analyst-articles/item/248-turkey-and-the-middle-eastern-revolts-democracy-or-islamism?.html) (assessed: 28.05.2019).

⁷Erdoğan'ın Laiklik Çağrısı Kızdırdı Müslüman Kardeşler: Koruyucuya İhtiyacımız Yok, İçişlerimize Karışmasın // Turktime. 15.09.2011. Available at: <http://www.turktime.com/haber/erdogan-in-laiklik-cagrisi-kizdirdi/157026> (accessed: 25.05.2019).

⁸Turkish ruling party model for Muslim states — Erdogan // BBC. 30.09.2012. Available at: <http://www.bbc.com/news/world-europe-19777742> (accessed: 25.05.2019).

В октябре 2012 г. также были проведены совместные военно-морские учения в Средиземном море⁹. Развитие двустороннего военного сотрудничества было отмечено еще одним событием — официальным визитом министра обороны Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги Исмета Йылмаза. Они обсудили пути укрепления военных связей между двумя странами¹⁰. Следует отметить, что для постреволюционного Каира налаживание военного сотрудничества было продиктовано обстановкой как внутри Египта, так и в регионе в целом.

В ноябре 2012 г. состоялся официальный двухдневный визит Р.Т. Эрдогана в Египет. Главы двух государств приняли участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня, в ходе которого было подписано 27 соглашений в сферах экономики, здравоохранения, образования, культуры и туризма. Стороны договорились увеличить объемы торговли между Турцией и Египтом¹¹. Р.Т. Эрдоган также принял участие в египетско-турецком бизнес-форуме, где еще раз подчеркнул важность развития двусторонних отношений и заявил, что египетский и турецкий народы — братские¹². В апреле 2012 г. был реализован проект морских перевозок между турецким портом Мерсин и египетской Александрией, в результате чего Египет стал мостом, связывающим Турцию с рынками Азии и Африки.

Можно заключить, что именно экономические успехи, которые ассоциировались с «турецкой моделью» и выражались в высоких темпах экономического роста и увеличении иностранных инвестиций в Турцию, выступали в рассматриваемый период главным фактором привлекательности идеи перенимания Египтом опыта этой страны. Турция начала свой путь к экономической либерализации в 1980-х годах. С тех пор в турецком

⁹ Egypt and Turkey hold joint naval exercise // Reuters. 08.10.2012. Available at: <https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFBRE8970V120121008> (accessed: 25.05.2019).

¹⁰ Defence minister visits Turkey to discuss military cooperation // Aswat Masriya. 05.05.2013. Available at: <http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=9f059b3d-5b82-43a9-9f74-5dbd117973b7> (accessed: 20.05.2019).

¹¹ Mısır'ı fethettik! Mısır ile Türkiye arasında bir dizi anlaşma imzalandı // Haberturk. 18.11.2012. Available at: <http://ekonomi.haberturk.com/makro-ekonomi/haber/795167-misirifethettik> (accessed: 20.05.2019).

¹² Kahire ile İstanbul'u kardeş şehir yapalım // Rizedeyiz. 18.11.2012. Available at: <https://www.rizedeyiz.com/Haber/Kahire-ile-Istanbulu-kardes-sehir-yapalim.html> (accessed: 17.05.2019).

обществе появился и начал расширяться новый средний класс так называемой исламской, или анатолийской буржуазии. Его представители были выходцами из провинциальных городов Анатолии, а ислам занимал важное место в их социальных и идеологических установках.

Однако новое руководство Египта продолжило начатый Хосни Мубараком в 1990-х годах неолиберальный экономический курс, который заслужил одобрение у западных стран, но стал одной из главных причин недовольства египетского общества, что привело к революции в 2011 г. [Nagarajan, 2013]. По сути, новые египетские власти ограничились попыткой нейтрализовать лишь самые тяжелые проявления «кланового капитализма» режима Х. Мубарака [Sika, 2015: 80], не решая фундаментальных экономических и социальных проблем, в то время как египетское общество, включая и религиозную его часть, ждало быстрого улучшения экономической ситуации в стране. Военная элита, традиционно играющая большую роль в политической и экономической жизни Египта, была обеспокоена провальной политикой М. Мурси, который не смог оправдать ожидания масс, участвовавших в революции в 2011 г., и возобновлением в стране народных волнений, потенциально способных перерасти в гражданскую войну. Опасения военных вызывало и увеличивавшееся влияние Турции на внешнюю политику Египта, которое угрожало вовлечь Каир в региональные конфликты (например, в Сирии). Несмотря на попытки М. Мурси и «Братьев-мусульман» выдать нараставший народный протест за происки противников ислама, удержаться у власти они не смогли. После свержения военными правительства М. Мурси в 2013 г. отношения с Турцией вновь приобрели напряженный характер, а вопрос пригодности «турецкой модели» в Египте стал неактуальным для новой власти.

Помимо внутренних факторов провалу попыток заимствования Египтом «турецкой модели» в значительной мере способствовала и позиция ряда региональных игроков. Так, только Турция и Катар оказывали ощутимую поддержку «Братьям-мусульманам». Для таких стран, как США, Израиль, Сирия и Саудовская Аравия, возможный альянс между Анкарой и Каиром в долгосрочной перспективе мог противоречить их региональным интересам, дестабилизировать баланс сил в регионе и уменьшить их влияние. Саудовская Аравия в первые дни осудила революцию 2011 г., в противовес Катару и Турции сделала ставку на военных, с которыми у нее имелись тесные связи, и поддержала

переворот 2013 г.¹³ Израиль тоже настороженно воспринял приход к власти в Египте исламистов, которые были намерены создать с Турцией альянс на Ближнем Востоке и заявляли о поддержке палестинцев. Сирия не могла допустить того, что в регионе будет еще одно государство, настроенное против режима Башара Асада, и тоже поддержала отстранение М. Мурси от власти.

Основные внутренние и внешние факторы, обусловившие неудачу попыток реализации «турецкой модели» в Египте, особенно рельефно проявляются при последовательном сопоставлении соответствующих турецких и египетских реалий (таблица).

Сравнительная оценка условий реализации «турецкой модели» в Турции под властью ПСР и в Египте в период правления М. Мурси

Фактор	Турция	Египет
Преобладающее отношение к западным ценностям	Положительное (реформы М.К. Ататюрка, либерализация экономики, тенденции интеграции в ЕС)	Отрицательное — в связи с негативными последствиями колониализма
Внутриполитическая конкуренция правящей партии, внедряющей «модель»	Практически отсутствует	Весьма значительная (салафитская партия «Аль-Нур», либерально-националистическая партия «Аль-Вафд»)
Практический политический опыт у партии, внедряющей «турецкую модель»	Существенный	Практически отсутствует
Влияние армии на внутриполитические процессы	Исторически значимое, проявившееся в ряде вмешательств в политические процессы (1960, 1971, 1980, 1997, 2016); последовательно уменьшается правящей партией ¹⁴	Традиционно доминирующее ¹⁵
Основной курс социально-экономического развития	Преимущественно рыночный	Преимущественно централизованный ¹⁶

¹³ Nordland R. Saudi Arabia promises to aid Egypt's regime // The New York Times. 19.08.2013. Available at: <https://www.nytimes.com/2013/08/20/world/middleeast/saudi-arabia-vows-to-back-egypts-rulers.html> (accessed: 02.05.2019).

¹⁴ См. подробнее: [Аvcı, 2011; Taş, 2018].

¹⁵ См. подробнее: [Arslantaş, 2013: 133–134].

¹⁶ См. подробнее: [Mitchell, 2002: 272–304].

Таким образом, становится очевидно, что в Египте исходно отсутствовали необходимые ключевые условия, обеспечившие в Турции как само формирование «модели», так и успех ее дальнейшей реализации. После военного переворота в Египте 3 июля 2013 г. и прихода к власти Абдель Фаттаха ас-Сиси дискуссии о применимости «турецкой модели» были прекращены, в отношениях с Турцией наступили спад и стагнация.

Реакция Турции на военный переворот 2013 г. в Египте и изменение двусторонних отношений

Турция стала одной из немногих стран, которая в жесткой форме раскритиковала военный переворот в Египте, назвав его свержением демократически избранного президента¹⁷. Дипломатические отношения между двумя государствами были сведены до уровня временного поверенного в делах.

Двусторонние отношения стали еще более напряженными после массовых столкновений военных со сторонниками свергнутого президента, которые прошли в различных городах Египта и начались с разгрома палаточных лагерей исламистов 14 августа 2013 г. возле мечети Рабаа Аль-Адавия на востоке Каира и на площади Нахда на западе города. Турция резко осудила насилие в Египте и заявила о необходимости призвать власти к ответственности перед судом. Египет оценил такое заявление как вмешательство в свои внутренние дела. В результате этого инцидента обе страны отменили ежегодные совместные военноморские учения¹⁸. Администрация А.Ф. ас-Сиси также приняла решение не продлевать трехлетний контракт транзитной торговли с Турцией, благодаря которому та экспортировала товары в Персидский залив через египетские порты, минуя тем самым опасные маршруты через Сирию и Ирак¹⁹.

Обострение двусторонних отношений обернулось тяжелыми последствиями для всей стратегии внешней политики Анкары. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль использовали сложившуюся ситуацию для усиления влияния

¹⁷ Akyol M. Turkey condemns Egypt's coup // Al-monitor. 21.08.2013. Available at: <https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2013/08/reasons-turkey-against-egypt-coup.html> (accessed: 20.07.2019).

¹⁸ Türkiye ile ortak tatbikat iptal edildi // Dünya. 16.08.2013. Available at: <http://dunya.com/turkiye-ile-ortak-tatbikat-iptal-edildi-200475h.htm> (accessed: 02.05.2019).

¹⁹ Egypt decides not to renew trade agreement with Turkey // Ihsmarkit. 18.03.2015. Available at: <https://ihsmarkit.com/country-industry-forecasting.html?ID=1065998881> (accessed: 28.05.2019).

в регионе и привлечения на свою сторону в геополитических процессах такого крупного и стратегически важного игрока, как Египет. Активная антитурецкая кампания, начатая Каиром и Эр-Риядом, способствовала тому, что Турция потеряла место непостоянного члена Совета Безопасности ООН, неожиданно для многих делегатов уступив Испании и Новой Зеландии²⁰.

8 ноября 2014 г. в Каире прошел трехсторонний саммит с участием президента Египта А.Ф. ас-Сиси, премьер-министра Греции Антониса Самараса и президента Кипра Никоса Анастасиадиса. В ходе переговоров была достигнута договоренность о сотрудничестве в энергетической сфере и проведении консультаций для осуществления демаркации границ в Восточном Средиземноморье. В совместном заявлении стороны призывали Турцию прекратить разведку месторождений природного газа в исключительной экономической зоне Кипра²¹.

В августе 2015 г. Египет возобновил дипломатические отношения с Сирией, которые были приостановлены при М. Мурси. Страны договорились о взаимодействии в борьбе с «ИГ»²² и другими исламистскими группировками, включая «Братьев-мусульман»²³.

В сложившейся ситуации Турция попыталась смягчить свою политику по отношению к Египту, заявляя о том, что, несмотря на противоречия и несогласия, народы обеих стран заинтересованы в развитии политических и экономических связей.

В июне 2016 г. новый премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара никогда не примет военный переворот в Египте 2013 г., однако это «не должно препятствовать коммерческим и экономическим отношениям двух стран», поскольку это отвечает интересам обоих народов²⁴. Р.Т. Эрдоган

²⁰ Turkey loses U.N. Security Council Seat in huge upset // Newsweek. 16.10.2014. Available at: <https://www.newsweek.com/venezuela-malaysia-angola-new-zealand-win-un-council-seats-277962> (accessed: 21.05.2019).

²¹ Mısır, Yunanistan, Rum Yönetimi zirvesi // Al Jazeera Türk. 08.11.2014. Available at: <http://www.aljazeera.com.tr/haber/misir-yunanistan-rum-yonetimi-zirvesi> (accessed: 28.05.2019).

²² «Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация. — *Прим. ред.*

²³ Staff T. Egypt said to renew diplomatic relations with Assad // Times of Israel. 13.09.2015. Available at: <https://www.timesofisrael.com/egypt-said-to-renew-diplomatic-relations-with-assad/> (accessed: 21.05.2019).

²⁴ Williams S. New Turkey PM extends hand to Israel, other regional foes // Times of Israel. 17.06.2016. Available at: <https://www.timesofisrael.com/new-turkey-pm-extends-hand-to-israel-other-regional-foes/> (accessed: 23.05.2019).

неоднократно подчеркивал, что Турция имеет претензии не к египетскому населению, а к нелегитимному правительству, которое несправедливо вынесло приговоры М. Мурси²⁵ и его сторонникам²⁶. В ответ Каир обвинял Анкару во вмешательстве во внутренние дела Египта, заявляя, что руководство страны было выбрано в ходе свободного демократического голосования, а отправной точкой установления нормальных двусторонних отношений является уважение воли народа²⁷.

* * *

Можно утверждать, что после попытки военного переворота в Турции в 2016 г. кризис в отношениях двух государств еще больше усугубился. В контексте взаимных, порой выходящих за рамки дипломатии претензий и обвинений резкое улучшение ситуации на данном этапе представляется невозможным.

Кроме того, продолжающиеся в Египте преследования членов организации «Братья-мусульмане», которая по-прежнему сохраняет тесные связи с Турцией и Катаром, является еще одним «камнем преткновения» в политических отношениях двух стран. В феврале 2019 г. девять человек были казнены по обвинению в причастности к убийству высокопоставленного прокурора Хишама Баракята в 2015 г. Международное сообщество и правозащитные организации (в частности, Amnesty International) осудили казнь заключенных, подчеркнув, что обвинение и мера наказания, предъявленные египетским судом, являются политически мотивированными²⁸. Это событие стало новым поводом для жесткой критики властей Египта Р.Т. Эрдоганом, который

²⁵ Статья была принята в печать до смерти Мухаммеда Мурси, который скончался 17 июня 2019 г. во время судебного заседания в Каире. Президент Турции Р.Т. Эрдоган резко отреагировал на случившееся, заявив, что Турция «не позволит предать забвению драму Мурси». В своей речи он также заявил, что действующий президент А.Ф. ас-Сиси «не является демократом», а представляет собой пример «тирана» (тур. *zalim*). Безусловно, смерть М. Мурси и реакция Турции на это событие еще более усугубили напряженность в отношениях между двумя странами и отодвинули на неопределенный срок перспективы их нормализации.

²⁶ Erdoğan'dan Mursi kararına ilk yorum: olumlu gördüm dersem sözde rüşvet olur // Sputnik International. 16.11.2016. Available at: <https://tr.sputniknews.com/turkiye/201611161025832076-erdogan-mursi-idam-yorum/> (accessed: 21.07.2019).

²⁷ Egypt condemns Erdogan for criticizing Cairo's rights record // The Globe Post. 12.11.2016. Available at: <https://theglobepost.com/2016/11/12/egypt-condemns-erdogan-for-criticizing-cairos-rights-record/> (accessed: 21.07.2019).

²⁸ В Египте казнили 9 членов организации «Братья-мусульмане» // Regnum. 22.02.2019. Доступ: <https://regnum.ru/news/2578669.html> (дата обращения: 25.05.2019).

заявил, что не готов встречаться с А.Ф. ас-Сиси, пока тот не освободит всех политзаключенных²⁹.

Вместе с тем Анкара и Каир регулярно заявляют о необходимости развивать культурные и экономические отношения. Следует отметить, что в 2016 г. Египет занял первую позицию среди стран Африканского континента по объему товарооборота с Турцией³⁰.

Сближение в сфере экономики стало проявляться уже в начале 2017 г., когда в Каире прошел первый с 2013 г. турецко-египетский бизнес-форум. С турецкой стороны на мероприятии присутствовал председатель Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу вместе с представителями различных турецких компаний. В ходе форума турецкие делегаты заявили о планах увеличения инвестиций в экономику Египта до 10 млрд долл. к концу 2018 г.³¹ Кроме того, в октябре 2017 г. в Стамбуле состоялся 9-й саммит Исламской восьмерки (D-8), на котором Р.Т. Эрдоган обозначил в качестве приоритетных задач организации увеличение уровня торгового оборота ее членов с 100 до 500 млрд долл. и переход на расчеты в национальных валютах³². В ноябре 2017 г. в Турции был организован очередной турецко-египетский бизнес-форум, целями которого стали продолжение развития экономических отношений между Турцией и Египтом и расширение товарооборота. Примечательно, что в 2018 г. он составил 3,9 млрд долл., увеличившись почти на 900 млн долл. по сравнению с 2017 г.³³

Таким образом, можно утверждать, что экономические связи между Турцией и Египтом демонстрируют положительную динамику. Однако стоит понимать, что этот процесс постепенного налаживания экономических контактов далек от достижения

²⁹ Erdogan: Will not meet Sisi until inmates are released // Middle East Monitor. 24.02.2019. Available at: <https://www.middleeastmonitor.com/20190224-erdogan-will-not-meet-sisi-until-inmates-are-released/amp/> (accessed: 25.04.2019).

³⁰ Mısır'ın Türkiye'nin Afrika'da En Fazla Ticaret Yaptığı Ülke Olduğu Açıklandı // Mısır Bülteni. 31.10.2016. Available at: <http://misirbulteni.com/misirin-turkiyenin-afrikada-en-fazla-ticaret-yaptigi-ulke-oldugu-aciklandi/> (accessed: 10.05.2019).

³¹ Turkish investors pledge double investments in 2017 // Daily News Egypt. 30.01.2017. Available at: <http://www.dailynewsegypt.com/2017/01/30/613493/> (accessed: 10.04.2019).

³² Erdoğan urges trade in national currencies at Istanbul D-8 Summit // Daily Sabah. 20.10.2017. Available at: <https://www.dailysabah.com/economy/2017/10/20/erdogan-urges-trade-in-national-currencies-at-istanbul-d-8-summit> (accessed: 10.04.2019).

³³ Türkiye — Mısır Dış Ticareti // Republic of Turkey Ministry of Trade. 12.12.2018. Available at: <https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/misir/ulke-profil/ekonomik-gorunum/turkiye-ile-ticaret> (accessed: 25.05.2019).

потенциально возможного уровня. Этот факт можно объяснить прежде всего затяжным политическим кризисом, в основе которого — проблема «Братьев-мусульман» и принципиальный для обеих сторон вопрос признания легитимности режима А.Ф. ас-Сиси. Совокупность перечисленных факторов наряду с актуальными событиями и обострением ситуации в Восточном Средиземноморье³⁴ дает основания предположить, что нормализация двусторонних контактов в краткосрочной перспективе является весьма маловероятным путем развития отношений и совершенно точно не примет форму заимствования Египтом «турецкой модели». В целом анализ динамики взаимодействия двух стран после событий «Арабского пробуждения» позволил рельефно обозначить пределы возможностей по имплементации «турецкой модели» в других государствах региона, равно как и существующие ограничения для реализации Турцией своих лидерских амбиций на пространстве Ближнего Востока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Akkoyunlu K., Nicolaidis K., Öktem K. The Western condition: Turkey, the US and the EU in the New Middle East. South East European Studies at Oxford (SEESOX), 2013.
2. Arslantaş D. The political analysis of the Muslim Brotherhood and the AKP tradition: Why did Turkish model fail in Egypt? A thesis submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University, 2013. Available at: <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616419/index.pdf> (accessed: 20.05.2019).
3. Avcı G. The Justice and Development Party and the EU: Political pragmatism in a changing environment // South European Societies and Politics. 2011. Vol. 16. No. 3. P. 409–421. DOI: 10.1080/13608746.2011.598357.
4. Ayoob M. Beyond the democratic wave in the Arab world: The Middle East's Turko-Persian future // Insight Turkey. 2011. No. 13 (2). P. 57–70.
5. Bal I. Turkey's relations with the West and Turkic republics, the rise and fall of the Turkish model. Burlington: Ashgate, 2000.
6. Brunwasser M. Turkey as a model democracy for Middle East the world. Global perspectives for an American audience. 2011. Available at: www.pro.org/stories/2011-02-21/turkey-model-democracy-middle-east/ (accessed: 03.10.2019).
7. Cerami C. Rethinking Turkey's soft power in the Arab World: Islam, secularism, and democracy // Journal of Levantine Studies. 2013. Vol. 3. No. 2. P. 129–150.
8. Ceyhun H.E. Turkey in the Middle East: Findings from the Arab Barometer. Arab Barometer Working paper, 2018.
9. Ciddi S. Kemalism in Turkish politics, the Republican People's Party, secularism and nationalism. London: Routledge, 2009.

³⁴ В середине мая 2019 г. Турция начала бурение месторождений в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Египет наряду с многими другими государствами осудил действия Турции и принял сторону Республики Кипр.

10. Davutoğlu A. Stratejik derinlik. Türkiye'nin uluslararası konumu. İstanbul: Küre Yayınları, 2010.
11. Dede A.Y. The Arab uprisings: Debating the 'Turkish model' // *Insight Turkey*. 2011. Vol. 13. No. 2. P. 23–32.
12. Ennis C.A., Momani B. Shaping the Middle East in the midst of the Arab uprisings: Turkish and Saudi foreign policy strategies // *Third World Quarterly*. 2013. No. 34 (6). P. 1127–1144. DOI: 10.1080/01436597.2013.802503.
13. Göksel O. Deconstructing the discourse of models: The 'battle of ideas' over the post-revolutionary Middle East // *Insight Turkey*. 2013. No. 15 (3). P. 157–170.
14. Habermas J. Modernity versus postmodernity // *New German Critique*. 1981. № 22. P. 3–14.
15. Işıksal H. Turkish foreign policy, the Arab Spring, and the Syrian crisis: One step forward, two steps back // *Turkey's relations with the Middle East* / Ed. by H. Işıksal, O. Göksel. Cham: Springer, 2018. P. 13–32.
16. Javaid U., Waqi Sajjad F. The genesis of the Turkish model // *Journal of Political Studies*. 2015. Vol. 22. Iss. 1. P. 303–318.
17. Kuru A. From Islamism to conservative democracy: The Justice and Development Party in Turkey. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriott, Loews, Philadelphia and the Pennsylvania Convention Centre, Philadelphia, PA, 2006. Available at: <http://www.allacademic.com/meta/p151181> (accessed: 21.05.2019).
18. Mitchell T. Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity. Berkeley: University of California Press, 2002.
19. Nagarajan K.V. Egypt's political economy and the downfall of the Mubarak regime // *International Journal of Humanities and Social Science*. 2013. Vol. 3. No. 10. P. 22–39.
20. Ozkaleli M.F., Konuloglu Ozkaleli U. The myth and the reality about Turkish model: Democratization in the Muslim world. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA, 2003. Available at: <http://www.allacademic.com/meta/62697> (accessed: 20.05.2019).
21. Sengupta A. Myth and rhetoric of the Turkish model. Exploring developmental alternatives. New Delhi: Springer, 2014.
22. Sika N. The Arab state and social contestation // *Beyond the Arab Spring: The evolving ruling bargain in the Middle East* / Ed. by M. Kamrava. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 73–97.
23. Stein A. Turkey's new foreign policy: Davutoglu, the AKP and the pursuit of regional order. London: RUSI, 2014.
24. Taş H. The 15 July abortive coup and post-truth politics in Turkey // *Southeast European and Black Sea Studies*. 2018. No. 18 (1). P. 1–19. DOI: 10.1080/14683857.2018.1452374.
25. Taşpınar Ö. Turkey: The new model? // *The Islamists are coming: Who they really are* / Ed. by R. Wright. Washington, D.C.: United States Institute for peace, 2012. P. 127.
26. Tol G. The 'Turkish model' in the Middle East // *Current History*. 2012. No. 111 (749). P. 350–355.
27. Torelli S.M. The rise and fall of the Turkish model for the Middle East // *Turkey's relations with the Middle East* / Ed. by H. Işıksal, O. Göksel. Cham: Springer, 2018. P. 53–64.

28. Ulgen S. From inspiration to aspiration: Turkey in the new Middle East. Carnegie Europe, 2011.
29. White J.B. The end of Islamism? Turkey's Muslimhood model // Remaking Muslim politics / Ed. by R. Hefner. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2004. P. 87–111.
30. Yavuz M.H. Is there a Turkish Islam? The emergence of convergence and consensus // Journal of Muslim Minority Affairs. 2004. No. 24 (2). P. 213–232.

D.V. Zhigulskaya

**LIMITS OF THE TURKISH MODEL APPLICABILITY
IN THE MIDDLE EAST COUNTRIES
AFTER THE ARAB AWAKENING:
THE CASE OF EGYPT**

*Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow, 119991
Institute of Oriental Studies
12 Rozhdestvenka Str, Moscow, 107031*

Painful transformational processes taking place in the Middle East after the Arab Awakening pose not only new threats and challenges for regional actors, but also provide new opportunities for some of them to pursue their geopolitical ambitions and strengthen strategic positions, including through non-traditional methods and tools. In this regard, Turkey's attempts to capitalize on the interest of some governments, which came to power on a wave of dissent, to learn from the Turkish experience in state building deserve independent consideration. These attempts were reflected in the concept of the so called Turkish model. In the early 2010s a particular interest in implementation of the Turkish model was shown by Egypt. The paper examines both the driving forces behind M. Mursi's government special attention to Ankara's example and the reasons that ultimately have led to the failure to operationalize the Turkish model in Egypt and the subsequent dramatic deterioration of bilateral relations. The first section of the paper identifies the key elements of the Turkish model. The author emphasizes that initially this model was aimed at identifying the optimal balance between religious and secular principles in public life. The second section explores M. Mursi's government attempts to implement the Turkish model in Egypt in the first half of 2010s. The author shows that it was economic and political success of Turkey in the 1990s and 2000s including its rapid economic growth and the increase of foreign investments, as well as a successful inclusion of political Islam in the Western-style democratic institutions that primarily attracted the new Egyptian government. However, the author concludes that M. Mursi's government failure to undertake

profound economic, social and political reforms combined with a mixed attitude of the Muslim Brotherhood towards the Turkish model, growing popular discontent and a negative attitude of certain regional actors towards this proclaimed political course of the new Egyptian leaders have eventually led to the military coup and cessation of all attempts to learn from the Turkish experience. The third section outlines implications of the 2013 military coup in Egypt for the bilateral relations. The author concludes that the Egyptian case clearly demonstrates the limits of applicability of the Turkish model in the Middle East countries, as well as limitations of Turkey's regional ambitions.

Keywords: the Republic of Turkey, the Arab Republic of Egypt, the Arab Awakening, Turkish model, the Muslim Brotherhood, the Justice and Development Party, political Islam, secularism, Recep Tayyip Erdogan, Hosni Mubarak, Mohammed Mursi, Abdel Fattah el-Sisi.

About the author: *Darya V. Zhigulskaya* — PhD (History), Associate Professor at the Department of Central Asia and the Caucasus, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University; Senior Research Fellow at the Department of Oriental History, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (e-mail: dvzhigulskaya@gmail.com).

Acknowledgments: The research has been accomplished with a financial support from the Russian Science Foundation, project №17-18-01614.

REFERENCES

1. Akkoyunlu K., Nicolaidis K., Öktem K. 2013. *The Western condition: Turkey, the US and the EU in the New Middle East*. South East European Studies at Oxford (SEESOX).
2. Arslantaş D. 2013. *The political analysis of the Muslim Brotherhood and the AKP tradition: why did Turkish model fail in Egypt?* A thesis submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University. Available at: <http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616419/index.pdf> (accessed: 20.05.2019).
3. Avcı G. 2011. The Justice and Development Party and the EU: Political pragmatism in a changing environment. *South European Societies and Politics*, vol. 16, no. 3, pp. 409–421. DOI: 10.1080/13608746.2011.598357.
4. Ayoob M. 2011. Beyond the democratic wave in the Arab world: The Middle East's Turko-Persian future. *Insight Turkey*, no. 13 (2), pp. 57–70.
5. Bal I. 2000. *Turkey's relations with the West and Turkic republics, the rise and fall of the Turkish model*. Burlington, Ashgate.
6. Brunwasser M. 2011. *Turkey as a model democracy for Middle East the world. Global perspectives for an American audience*. Available at: www.pro.org/stories/2011-02-21/turkey-model-democracy-middle-east/ (accessed: 03.10.2019).
7. Cerami C. 2013. Rethinking Turkey's soft power in the Arab World: Islam, secularism and democracy. *Journal of Levantine Studies*, vol. 3, no. 2, pp. 129–150.

8. Ceyhun H.E. 2018. *Turkey in the Middle East: Findings from the Arab Barometer*. Arab Barometer Working paper.
9. Ciddi S. 2009. *Kemalism in Turkish politics, the Republican People's Party, secularism and nationalism*. London, Routledge.
10. Davutoğlu A. 2010. *Stratejik derinlik. Türkiye'nin uluslararası konumu*. İstanbul, Küre Yayınları.
11. Dede A.Y. 2011. The Arab uprisings: Debating the 'Turkish model'. *Insight Turkey*, vol. 13, no. 2, pp. 23–32.
12. Ennis C.A., Momani B. 2013. Shaping the Middle East in the midst of the Arab uprisings: Turkish and Saudi foreign policy strategies. *Third World Quarterly*, no. 34 (6), pp. 1127–1144.
13. Göksel O. 2013. Deconstructing the discourse of models: The 'battle of ideas' over the post-revolutionary Middle East. *Insight Turkey*, no. 15 (3), pp. 157–170.
14. Habermas J. 1981. Modernity versus postmodernity. *New German Critique*, no. 22, pp. 3–14.
15. Işıksal H. 2018. Turkish foreign policy, the Arab Spring, and the Syrian crisis: One step forward, two steps back. In Işıksal H., Göksel O. (eds.). *Turkey's relations with the Middle East*. Cham, Springer, pp. 13–32.
16. Javaid U., Waqi Sajjad F. 2015. The genesis of the Turkish model. *Journal of Political Studies*, vol. 22, iss. 1, pp. 303–318.
17. Kuru A. 2006. *From Islamism to conservative democracy: The Justice and Development Party in Turkey*. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriot, Loews, Philadelphia and the Pennsylvania Convention Centre, Philadelphia, PA. Available at: <http://www.allacademic.com/meta/p151181> (accessed: 21.05.2019).
18. Mitchell T. 2002. *Rule of experts: Egypt, techno-politics, modernity*. Berkeley, University of California Press.
19. Nagarajan K.V. 2013. Egypt's political economy and the downfall of the Mubarak regime. *International Journal of Humanities and Social Science*, vol. 3, no. 10, pp. 22–39.
20. Ozkaleli M.F., Konuloglu Ozkaleli U. 2003. *The myth and the reality about Turkish model: Democratization in the Muslim world*. Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA. Available at: <http://www.allacademic.com/meta/62697> (accessed: 20.05.2019).
21. Sengupta A. 2014. *Myth and rhetoric of the Turkish model. Exploring developmental alternatives*. New Delhi, Springer.
22. Sika N. 2015. The Arab state and social contestation. In Kamrava M. (ed.). *Beyond the Arab Spring: The evolving ruling bargain in the Middle East*. Oxford, Oxford University Press, pp. 73–97.
23. Stein A. 2014. *Turkey's new foreign policy: Davutoglu, the AKP and the pursuit of regional order*. London, RUSI.
24. Taş H. 2018. The 15 July abortive coup and post-truth politics in Turkey. *Southeast European and Black Sea studies*, no. 18 (1), pp. 1–19. DOI: 10.1080/14683857.2018.1452374.
25. Taşpınar Ö. 2012. Turkey: The new model? In Wright R. (ed.). *The Islamists are coming: Who they really are*. Washington, D.C., United States Institute for peace, p. 127.

26. Tol G. 2012. The 'Turkish model' in the Middle East. *Current History*, no. 111 (749), pp. 350–355.
27. Torelli S.M. 2018. The rise and fall of the Turkish model for the Middle East. In Işıksal H., Göksel O. (eds.). *Turkey's relations with the Middle East*. Cham, Springer, pp. 53–64.
28. Ülgen S. 2011. *From inspiration to aspiration: Turkey in the new Middle East*. Carnegie Europe.
29. White J.B. 2004. The end of Islamism? Turkey's Muslimhood model. In Hefner R. (ed.). *Remaking Muslim politics*. Princeton and Oxford, Princeton University Press, pp. 87–111.
30. Yavuz M.H. 2004. Is there a Turkish Islam? The emergence of convergence and consensus. *Journal of Muslim Minority Affairs*, no. 24 (2), pp. 213–232.

А.В. Демченко*

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА БЕЖЕНЦЕВ В ИОРДАНИИ**

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт востоковедения Российской академии наук»
107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12*

Одним из последствий конфликта в Сирии, придавших ему подлинно международное значение, стало невиданное обострение проблемы беженцев. Особенно широкое освещение в средствах массовой информации получил миграционный кризис, разразившийся в 2015 г. в странах Европейского союза. При этом теряется из виду тот факт, что основной поток беженцев из Сирии пришелся прежде всего на граничащие с ней государства, до предела обострив там социально-экономическую и политическую обстановку. В этом отношении особого внимания заслуживает Иорданское Хашимитское Королевство: по разным оценкам, оно приняло от 600 тыс. до более 1,3 млн беженцев. При этом позиция Иордании по данной проблеме в целом отличается ярко выраженной спецификой, которая обусловлена многосторонним характером населения страны и необходимостью поддержания сложного межобщинного баланса. Показано, как эти обстоятельства отразились на нормативно-правовой базе, регулирующей в Иордании вопросы миграции и предоставления убежища. В статье также подробно освещена эволюция подходов иорданского руководства к проблеме сирийских беженцев с 2011 г., когда в страну стали прибывать первые жертвы конфликта, по настоящее время. В частности, автор отмечает, что если в 2011–2013 гг. сирийцы могли въезжать в Иорданию практически беспрепятственно, то после стремительного увеличения числа беженцев в 2013–2014 гг. Амман резко ужесточил пограничный контроль. Однако достаточно быстро выяснилось, что одни лишь ограничительные меры не позволяют нормализовать социально-экономическую ситуацию в стране, способствуют криминализации мигрантов. В результате с 2016 г. Иордания начала проводить более гибкую политику в отношении беженцев, с одной стороны, по-прежнему не допуская роста их

* Демченко Александр Владимирович — кандидат исторических наук, ученый секретарь Института востоковедения РАН (e-mail: demchok@yandex.ru).

** Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-18-01614 «Проблемы и перспективы международно-политической трансформации Ближнего Востока в условиях региональных и глобальных угроз».

численности на своей территории, а с другой — используя мигрантов для получения от США, ЕС и международных организаций дополнительного финансирования, которое не только помогает смягчить влияние сирийского кризиса, но и способствует развитию инфраструктуры и некоторых сфер экономики. В то же время автор заключает, что перспективы благополучного разрешения миграционного кризиса в Иордании остаются очень туманными: они всецело зависят от процесса урегулирования конфликта в САР, а в случае его провала хрупкий демографический и политический баланс в королевстве будет безвозвратно разрушен.

Ключевые слова: Иордания, Сирия, Россия, США, сирийский конфликт, беженцы, война с терроризмом, внешняя помощь.

Проблема миграции и беженцев на долгое время стала одной из важнейших в современной мировой повестке. В 2015 г. Европа пережила масштабный миграционный кризис — неконтролируемое перемещение миллионов людей преимущественно из ряда территорий арабского мира, сопредельных государств Тропической Африки, а также Афганистана и Пакистана. Как отмечает отечественный политолог В.С. Малахов, «складывается впечатление, что глобальные миграционные потоки текут в одном направлении, а именно — из регионов мирового Юга. Однако такая оптика не позволяет увидеть всей масштабности и сложности феномена глобальных миграций. В действительности не менее 40% мировых миграционных перемещений происходит между странами Юга». При рассмотрении процессов вынужденного переселения оказывается, что на государства Севера в настоящее время приходится лишь 14% соответствующих потоков [Малахов, 2016: 4].

Причинами массовой миграции как в направлении глобального Севера, так и в рамках глобального Юга являются гражданские войны и деятельность радикальных исламистов в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и Пакистане, Сомали, Эритрее, Нигерии и других странах; неэффективность государственного управления; нарушения прав человека; преследования этнических и конфессиональных меньшинств. Указанные проблемы накладываются на другие трудности развивающихся стран: высокий уровень бедности, перенаселенность и недостаток природных ресурсов (например, воды), неблагоприятные климатические изменения.

Наибольший резонанс и масштаб проблеме беженцев придает конфликт в Сирии, которую с 2011 г., по данным ООН, покинули 5,6 млн человек, при том что речь идет только о за-

регистрированных переселенцах. По состоянию на май—июнь 2019 г. больше всего сирийских беженцев находилось в Турции (64,1%, или 3,6 млн человек), Ливане (16,6%, или 935,5 тыс.), Иордании (11,8%, или 664,3 тыс.), Ираке (4,5%, или 253 тыс.) и Египте (2,4% или 132,7 тыс.)¹. Еще 6,6 млн сирийцев являются внутренне перемещенными лицами². Таким образом, Сирия, которая в предыдущие десятилетия сама принимала палестинских, иракских, суданских и сомалийских беженцев, превратилась в основной источник миграции на Арабском Востоке.

Для Турции сирийские беженцы хотя и стали проблемой, особенно в приграничных районах, но все же не столь масштабной — из-за большой численности населения страны (83,4 млн человек) и возможности для сирийских и других мигрантов проследовать далее в ЕС. В небольших по населению Ливане (6,8 млн человек) и Иордании (10,1 млн) массовый приток сирийцев привел к многомерному кризису, обострив существующие системные социально-экономические и общественно-политические проблемы и создав угрозу трансграничного перелива конфликта. Ливан и Иордания обладают слабыми возможностями абсорбции беженцев. Обе страны, особенно Хашимитское Королевство, из-за специфики географического положения стали для сирийцев «конечной остановкой». Ситуацию усугубляет то, что Ливан и Иордания с их многосоставным характером населения, которое не лишено внутренних противоречий различной степени остроты, особенно чувствительны к нарушению межобщинного баланса из-за беженцев. Наконец, Ливан и Иордания имеют общую границу с Сирией и опасаются распространения конфликта на свою территорию, начала военной конфронтации с сирийскими правительственными силами и расширения активности «Исламского государства» («ИГ») и «Аль-Каиды»³, весьма заметных на сирийско-иракском пространстве. Таким образом, беженцы в Иордании и Ливане могут стать потенциальным фактором дестабилизации, что позволяет отнести эти государства к категории «хрупких» [Наумкин и др., 2016: 8].

Король Абдалла II, занявший иорданский трон в 1999 г., старался уберечь страну от последствий региональной нестабиль-

¹ Syria refugee regional response // Operational Data Portal (UNHCR). Available at: <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria> (accessed: 11.06.2019).

² Syria emergency // UNHCR. Available at: <https://www.unhcr.org/syria-emergency.html> (accessed: 22.06.2019).

³ Данные организации являются террористическими и запрещены на территории России и ряда государств.

ности — интифады Аль-Акса, войны в Ираке и др. Иордания благополучно пережила акции протеста оппозиции в период «Арабского пробуждения» в 2011–2012 гг. Амман сделал всё возможное, чтобы не втягиваться в конфликт в Сирии, но резкое увеличение притока беженцев во второй половине 2012–2013 гг. заставило власти королевства изменить и ужесточить политику в отношении сирийских мигрантов. Другим результатом миграционного кризиса для Хашимитского Королевства стала его более активная позиция в отношении сирийских событий: поддержка усилий России и прочих государств по прекращению войны и борьбе с «ИГ» и сторонниками «Аль-Каиды», а также готовность оказать помощь в постконфликтной реконструкции САР. Наконец, миграционный кризис в Иордании привел к дальнейшему укреплению ее отношений с западными странами, особенно с США, для которых королевство является гарантом безопасности Израиля, партнером в борьбе с терроризмом, «главным союзником вне НАТО» и крупнейшим получателем американской помощи в мире наряду с Афганистаном и Израилем⁴ в рамках политики обеспечения стабильного развития Иордании посредством применения механизмов внешней помощи [Хлебникова, 2018: 81]. США, европейские страны и монархии Аравийского полуострова помогают королевству в укреплении его безопасности, смягчении внутренних социально-экономических трудностей и преодолении проблемы беженцев. Более того, Иордания, которая исторически выступала в качестве реципиента беженцев (выходцев с Северного Кавказа во времена Османской империи, палестинцев после первой и третьей арабо-израильских войн, иракских беженцев после первой и второй войн в Персидском заливе), при помощи зарубежных доноров старается, хотя и со скромным успехом, использовать переселенцев как ресурс для развития страны, рассматривая миграционный кризис как возможность.

В отечественной литературе вопросам, связанным с проблемой сирийских беженцев в Иордании, уделено сравнительно мало внимания. Исследователи в основном сосредоточены на анализе различных аспектов миграционного кризиса, с которым столкнулись страны ЕС. Тем не менее интересные наблюдения и выводы о влиянии этого процесса на Хашимитское Королевство

⁴Jordan: Background and U.S. relations. Congressional Research Service. RL33546 // Federation of American Scientists. 09.04.2019. Available at: <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf> (accessed: 11.06.2019).

можно встретить в ряде статей⁵ [Хлебникова, 2018], посвященных внутренней ситуации в Иордании и ее внешней политике. Определенную ценность представляет в этом контексте и аналитический доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай», подготовленный в 2016 г. И.Д. Звягельской, В.А. Кузнецовым, В.В. Наумкиным и Н.В. Суховым [Наумкин и др., 2016].

В зарубежной литературе заявленной теме уделено больше внимания. Европейские, американские и иорданские исследователи [Alshoubaki, Harris, 2018; Francis, 2015; Yahya, 2018; Betts, Collier, 2015; Tsourapas, 2019] опубликовали немалое число статей и аналитических докладов, в которых рассматривается влияние сирийских беженцев на социальную сферу и экономику Иордании, политику и безопасность, а также позицию королевства по конфликту в Сирии. Для западных исследований характерны повышенное внимание к гуманитарным аспектам проблемы сирийских беженцев в Иордании и критическое отношение к политике Аммана в этом направлении. В то же время присутствует некоторый пробел в том, что касается российско-иорданского взаимодействия в контексте наметившейся деэскалации сирийского конфликта и обозначившихся перспектив (пусть и туманных) решения проблемы беженцев в Иордании.

Цель статьи — детально рассмотреть этапы развития ситуации с сирийскими беженцами в Иордании и превращение их в один из факторов, влияющих на экономику, систему социального обеспечения, общественно-политическую жизнь и стабильность королевства. Автор ставит задачу проанализировать эволюцию политики иорданских властей в отношении мигрантов из САР. Новизна работы подчеркивается не только максимальным охватом различных аспектов проблемы сирийских беженцев в Иордании, но и тем, что в ней предпринята попытка изучить влияние этого фактора на подход Аммана к конфликту в Сирии. Показано, что внешнеполитический курс Иордании развивался от умеренной поддержки сирийской оппозиции ко все большему дистанцированию от нее, сближению с Россией и постепенному восстановлению отношений с Дамаском. РФ, вмешавшись в сирийский конфликт, активно подавляет террористов, способствует нормализации ситуации в регионе и превращается в своего рода «поставщика безопасности» для Хашимитского Королевства,

⁵ Аль-Макалех (Дубовикова) М. В Аммане все неспокойно // Российский совет по международным делам. 14.06.2018. Доступ: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-ammame-vse-nespoikoyno/> (дата обращения: 23.06.2019).

пусть и в неизмеримо второстепенного по сравнению с США, имеющими давние и тесные партнерские отношения с Иорданией.

Гражданские войны и беженцы как вызов для соседних государств

Разнообразные проявления конфликта в Сирии, такие как вооруженное насилие, внешнее вмешательство, упадок экономики и социальной сферы, не ограничиваются территорией страны, но воздействуют на сопредельные государства, что не является уникальным в современной истории. В связи с выходом в постбиполярном мире на первый план подобных внутригосударственных конфликтов и обострением проблемы беженцев ряд западных исследователей — Дж. Мердок, Т. Сандлер, М. Харрис, И. Салехян, С. Лишер, М. Вейнер, Б. Уитейкер и др. — сосредоточились на анализе региональных последствий этих явлений с привлечением широкого эмпирического материала (африканского, азиатского, латиноамериканского, балканского) и сделали некоторые теоретические обобщения.

Они сходятся во мнении, что негативные последствия притока беженцев могут проявляться в самых разных сферах: политической, экономической, демографической, социокультурной и экологической. Если принимающее государство слабое и неблагополучное, то степень воздействия, которому оно подвергается, вплоть до расплывания конфликта на его территорию, возрастает. Несмотря на оказание странам-реципиентам международной помощи, содержание беженцев ложится тяжким бременем на экономику. Мигранты снимают жилье, что приводит к росту арендной платы для местных, конкурируют с гражданами за рабочие места, зачастую трудясь нелегально и за меньшую плату, претендуют на получение образования и медицинских услуг, создают нагрузку на систему ЖКХ, а повышенный спрос на продукты питания и товары массового потребления ведет к инфляции. Американские экономисты Дж. Мердок и Т. Сандлер, проводившие сравнительный анализ конфликтов в различных частях мира, к последствиям прибытия беженцев добавляют сокращение инвестиций, международной торговли, снижение качества человеческого капитала, что в сумме замедляет развитие экономики и рост ВВП [Murdoch, Sandler, 2002: 451–452]. Авторы аналитического доклада Всемирного банка М.П. Гомес и А. Кристенсен обращают внимание на то, что проживание беженцев в слаборазвитых странах, как правило, сопровождается бесконтрольной вырубкой деревьев для строительства временных

поселений и использования в качестве топлива, истощением водных ресурсов, загрязнением окружающей среды и ее деградацией [Gomez, Christensen, 2010: 13–14].

Ряд ученых указывают на сочетание отрицательного и положительного эффектов для принимающих стран от присутствия беженцев. Так, Б. Уитейкер (Университет Северной Каролины, США) на примере Танзании показала, что появление большого числа вынужденных мигрантов ведет к увеличению объемов сельхозпроизводства, расширению потребительского рынка, росту торговли и предпринимательства, обеспечивает страну дешевыми рабочими руками. Благодаря усилиям властей и гуманитарных организаций улучшается социальная инфраструктура, к которой получают доступ в том числе местные жители. Но даже при позитивном сценарии от оживления местной экономики выигрывают главным образом благополучные слои населения страны-реципиента, а неблагополучные группы скорее испытывают ухудшение положения [Whitaker, 2002: 341–345, 355–356]. Не исключены столкновения между беженцами и местными жителями, например, если последние сочтут, что мигранты, получающие зарубежную гуманитарную помощь, находятся в лучшем положении, чем они сами [Alshoubaki, Harris, 2018: 156].

Наконец, беженцы нередко превращаются в фактор, оказывающий мощное дестабилизирующее влияние на ситуацию в сфере безопасности в принимающем государстве, осложняют его отношения со страной исхода и способствуют трансграничному распространению конфликта.

Согласно исследованию И. Салехяна (Университет Северного Техаса, США), хотя большинство вынужденных переселенцев не вовлечены в боевые действия, а скорее сами являются жертвами насилия, некоторые из их числа рекрутируются в ряды вооруженных группировок, а лагеря беженцев часто выполняют двойную функцию, выступая в качестве повстанческих баз. Такой переход дает мигрантам источник заработка и в какой-то степени предоставляет возможность самореализации, когда другие пути после начала гражданской войны становятся недоступными. Появление вооруженных формирований очень вероятно, когда власти не способны контролировать беженцев. Руководство принимающей стороны решает воздержаться от силовых мер против нарушителей границы, опасаясь вступать с ними в вооруженный конфликт. Нередко соседи сами способствуют созданию военизированных отрядов из числа беженцев, чтобы использовать их против правительственных сил соседнего государства,

охваченного гражданской войной. Активность повстанческих группировок вносит напряженность в двусторонние отношения. Войска государства, где идет конфликт, могут вторгаться на территорию близлежащих стран, превратившихся в базу для враждебной деятельности. Объектами «рейдов возмездия» их организаторы при этом выбирают как отряды оппозиции, так и подразделения национальной армии, чтобы побудить таким образом власти соседнего государства к предотвращению вылазок боевиков. Под удар нередко попадают не только военные и повстанцы, но и местное население, что усиливает внутреннюю напряженность и ведет к недовольству в адрес и беженцев, которые провоцируют вооруженные инциденты, и правительства, не способного обеспечить безопасность в приграничных регионах [Salehyan, 2007: 11–13].

Проблема беженцев оборачивается для принимающих государств ростом социальной напряженности, межэтническими и межконфессиональными противоречиями. Важную роль в отношении местных жителей и властей к мигрантам играют опасения, что последние изменяют демографическую обстановку, усложняют и нарушают сложившийся баланс в многосоставных обществах [Alshoubaki, Harris, 2018: 157].

Ответные меры властей стран-реципиентов в отношении беженцев, по мнению американской исследовательницы С. Лисчер, в значительной степени зависят от того, сталкивалось ли государство в прошлом с этой проблемой и какие это имело последствия. Если в какой-либо стране ранее появление беженцев (например, палестинцев в Ливане) было одним из факторов, способствовавших началу гражданской войны, то новый поток вынужденных мигрантов правительство однозначно будет расценивать как угрозу стабильности [Lischer, 2017: 88–91].

Власти принимающих стран стараются располагать лагеря беженцев на периферии и в некомфортных для проживания районах, что объясняется не только географической близостью к государству исхода, но и намерением отбить у мигрантов желание остаться надолго. Некоторые правительства даже запрещают беженцам или гуманитарным организациям строить сколько-нибудь долговечное жилье. В числе других ограничений, накладываемых на переселенцев, отмечены запрет на официальное трудоустройство, на свободное передвижение по стране без специального разрешения и ущемление других прав. Однако политика маргинализации беженцев, проводимая в целях недопущения их дестабилизирующего влияния, весьма противоречива,

так как оборачивается недовольством вынужденных мигрантов в адрес властей принимающей страны, ростом преступности, а неблагополучные лагеря превращаются в квазигосударственные образования, где часть функций по управлению берут на себя негосударственные акторы [Lischer, 2017: 93].

При наихудшем развитии ситуации происходит распространение конфликта на соседей (хотя насилие на территории принимающего государства не обязательно может быть продолжением насилия в стране исхода) и появляется, по выражению С. Лисчер, целый «конфликтный кластер». Вероятность такого сценария повышается, если власти страны-реципиента не способны контролировать периферию, где, как правило, скапливаются мигранты. Если конфликт, спровоцировавший волну беженцев, становится затяжным, то они надолго остаются на принимающей территории, не планируют возвращаться в обозримом будущем на родину и фактически превращаются в постоянное население страны, предоставившей им убежище. Попытки властей подтолкнуть их к репатриации приводят к росту напряженности в отношениях с общиной, примером чего может служить проблема афганских беженцев в Пакистане [Lischer, 2017: 88–91].

Представленный обзор работ, посвященных феномену взаимовлияния беженцев и стран-реципиентов, демонстрирует, что исследования в этой области до сих пор единичны и о формировании какой-либо целостной концепции говорить преждевременно. В настоящей статье не ставится задача провести детальное сравнение влияния проблемы беженцев на Иорданию с ситуацией, складывавшейся в латиноамериканских, африканских и азиатских странах. Скорее приведенные примеры других государств необходимы, чтобы показать, что разрушительное воздействие на Иорданию сирийской миграции потенциально могло оказаться куда большим, если бы события развивались по наиболее неблагоприятному сценарию, предполагающему расползание конфликта на территорию Хашимитского Королевства и стремительную деградацию его экономики и социальной сферы.

Вопрос о беженцах в международном праве и позиция Иордании

Особенности политики Иордании в отношении сирийских беженцев невозможно рассматривать, не принимая во внимание исторический опыт королевства и без учета специфики иорданской правовой базы. Мигранты и беженцы сыграли значительную роль в истории Хашимитского государства. Во главе эмирата

Трансиордания, созданного при поддержке Великобритании в 1922 г., встал Абдалла I (1922–1951), прибывший несколькими годами ранее с соратниками из Хиджаза, которым его предки правили во времена Османской империи, для борьбы против турок. Политическую элиту новой страны составили выходцы из Восточной Аравии и других частей арабского мира, восточноиорданская племенная знать и представители северокавказской общины, расселенной в Заиорданье Османами в начале XX в. В период первой арабо-израильской войны 1948–1949 гг. в Трансиорданию бежали не менее 800 тыс. палестинцев: она была единственной арабской страной, которая предоставила им гражданство, так как Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим были включены в состав Хашимитского Королевства. Присоединение Палестины кардинально изменило облик страны, в которой до этого проживали около 450 тыс. человек. Политическая власть осталась в руках прежней элиты (в основном восточноиорданской по происхождению), которая пополнилась несколькими кланами палестинских нотаблей, перешедших на сторону Хашимитов. После потери в 1967 г. Западного берега и Старого города Иерусалима доля палестинского населения сократилась до 50% и менее. С одной стороны, палестинцы, особенно их организации — ООП, ФАТХ и ряд леворадикальных Народных фронтов, проникнутые идеями панарабизма, настроениями реваншизма, представляли угрозу стабильности Иордании. Особенно ярко это проявилось в ходе событий «Черного сентября» 1970 г., когда король Хусейн (1953–1999) был вынужден провести войсковую операцию против вышедших из-под контроля военизированных палестинских группировок. С другой стороны, палестинцы внесли огромный вклад в процесс модернизации страны, составили значительную часть предпринимательского слоя. Таким образом, фактор беженцев имел для Иордании разнообразные проявления, однако, несмотря на все положительные аспекты, для восточноиорданской элиты, служащей опорой королевской власти, изменения в составе населения и даже увеличение влияния палестинских сограждан неприемлемы, и у иорданцев сформировалось настроенное отношение к любым вынужденным переселенцам.

При этом правовая база, регулирующая на практике политику властей Иордании в отношении беженцев, своеобразна и отражает сложный исторический опыт этой страны. Королевство не подписывало Женевскую конвенцию о статусе беженцев (1951) и Протокол, касающийся статуса беженцев (1967), подготовлен-

ные ООН. В Конвенции сказано, что беженцем признается лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений»⁶.

Документ налагает на страну, принимающую беженцев, определенные обязательства, включая предоставление им права на свободное передвижение, получение образования и социального обеспечения, судебную защиту и труд. Статья 33 Конвенции запрещает «высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений». Это положение не применимо к лицам, «рассматриваемым в силу уважительных причин как угроза безопасности страны, в которой они находятся, или осужденным вошедшим в силу приговором в совершении особенно тяжкого преступления и представляющим общественную угрозу для страны»⁷. Протокол 1967 г. распространил действие Конвенции на всех беженцев, а не только на лиц, покинувших места своего проживания в годы Второй мировой войны и в послевоенный период до 1951 г.⁸

Иордания, как и многие другие государства арабского мира, Южной и Юго-Восточной Азии, не стремится связывать себя обязательствами, налагаемыми Конвенцией и Протоколом. Приблизительно половина стран — членов Лиги арабских государств (ЛАГ) не подписали ни один из двух документов. Такую позицию можно объяснить опасениями, что прибытие огромного числа

⁶ Конвенция о статусе беженцев. Принята 28 июля 1951 г. Конференцией полномочных представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов, созванной в соответствии с резолюцией 429 (V) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1950 г. // ООН. Доступ: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения: 23.06.2019).

⁷ Там же.

⁸ Протокол, касающийся статуса беженцев. Принят 31 января 1967 г. // ООН. Доступ: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/refugees_prot.shtml (дата обращения: 23.06.2019).

беженцев нарушит демографическую ситуацию, а это особенно опасно для государств со средней или небольшой численностью населения (например, для Ливии, Иордании, Ирака, Сирии, стран Персидского залива). Арабские государства сравнительно недавно обрели независимость, а беженцы мешают усилиям властей по сплочению населения в единую нацию. Наконец, не меньшую роль играют соображения социально-экономического характера, так как переселение масс обездоленных людей повышает нагрузку на экономику страны-реципиента. На «арабское понимание» феномена беженцев также повлиял ближневосточный конфликт. Власти арабских государств опасаются (и до начала в 1991 г. палестино-израильского мирного процесса эти озабоченности были очень серьезными), что решение палестинского вопроса может быть сведено к необходимости урегулирования проблемы палестинских беженцев, а их обустройство и интеграция в других арабских странах сделают вопрос о создании жизнеспособного палестинского государства неактуальным.

В то же время в Иордании была разработана собственная правовая база, касающаяся беженцев. Хашимитское Королевство признает Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 г., статья 13 которого устанавливает, что «иностранец, законно находящийся на территории какого-либо из участвующих в настоящем Пакте государств, может быть выслан только во исполнение решения, вынесенного в соответствии с законом...»⁹.

В Конституции Иордании в статье 21 сказано, что «политические эмигранты не подлежат выдаче по мотивам их политической деятельности или деятельности, направленной на защиту свободы»¹⁰. Однако эта статья скорее применялась в отношении узкого круга оппозиционеров, находивших убежище в королевстве в периоды его конфликтов с разными сирийскими баасистскими правительствами, бывшими у власти с 1963 г., и к некоторым функционерам саддамовского режима в Ираке, покинувшим страну после 2003 г. Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежища, попадают под действие иорданского Закона № 24 «О положении иностранцев на территории Иордании» (1973).

⁹ Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. // ООН. Доступ: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 23.06.2019).

¹⁰ Jordanian Constitution // Hashemite Kingdom of Jordan Constitutional Court. Available at: <http://www.cco.gov.jo/Jordanian-Constitutional> (accessed: 23.06.2019).

Закон не разделяет иностранцев на беженцев и не беженцев, определяя их всех как лиц, не имеющих иорданского гражданства. В некоторых местах Закона беженцы упоминаются, но все равно отсутствует их выделение в самостоятельную категорию¹¹.

Слабость правовой базы была отчасти компенсирована в 1998 г., когда Иордания и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) подписали Меморандум о взаимопонимании. Хашимитское Королевство соглашалось с определением, данным беженцам в Конвенции 1951 г., принимало во внимание ее статью о запрете на высылку этих людей обратно в государство исхода и подтверждало, что стороны будут обращаться с беженцами в соответствии с международными стандартами, включая признание их права на труд в стране, предоставившей убежище. В статье 12 Меморандума отмечалось: «...при возникновении чрезвычайных обстоятельств в связи с большим притоком [беженцев. — А.Д.] стороны договорились, что будут сотрудничать в их преодолении, включая обеспечение беженцев и ищущих убежища продовольствием, водой, санитарными условиями, жильем, медицинскими услугами и заботу об их безопасности»¹².

После появления в Иордании большого числа беженцев из Сирии, на работу с которыми сотрудникам УВКБ ООН требовалось больше времени, 31 марта 2014 г. глава МВД Иордании Хусейн Маджали и представитель Управления Эндрю Харпер утвердили поправку к Меморандуму 1998 г., увеличивавшую срок рассмотрения прошений о предоставлении статуса беженца, который раньше составлял от 21 до 30 дней, до трех месяцев. Срок действия индивидуальных удостоверений беженцев был продлен с шести месяцев до года¹³. Но в целом, несмотря на подписание Меморандума 1998 г. и Поправок к нему 2014 г., правовая база в Иордании, касающаяся беженцев, остается несовершенной [Francis, 2015: 7].

¹¹ Refugee law and policy: Jordan. Last updated: 06.21.2016 // The Library of Congress. Available at: https://www.loc.gov/law/help/refugee-law/jordan.php#_ftn5 (accessed: 23.06.2019).

¹² Memorandum of Understanding between the Government of Jordan and UNHCR // Official Gazette No. 4277. 03.05.1998. Available at: <http://carim-south.eu/database/legal-module/memorandum-of-understanding-between-the-government-of-the-h-k-of-jordan-and-the-unhcr/> (accessed: 23.06.2019).

¹³ Malkawi K. Gov't, UNHCR sign amendments to cooperation memo // The Jordan Times. 31.03.2014. Available at: <http://www.jordantimes.com/news/local/gov%E2%80%99t-unhcr-sign-amendments-cooperation-memo> (accessed: 23.06.2019).

Политика открытых границ

Первые месяцы противостояния властей и оппозиции в Сирии Иордания сохраняла нейтралитет. Однако по мере углубления и интернационализации сирийского кризиса Амман присоединился к критикам режима Башара Асада на Западе и на Ближнем Востоке, поскольку иорданскую династию связывали с ними тесные отношения, а также потому, что расстановка сил явно была не в пользу официального Дамаска. В ноябре 2011 г. Иордания поддержала решение ЛАГ о временной приостановке членства Сирии в организации. При этом Хашимитское Королевство скептически оценивало последствия возможного внешнего вмешательства в очередной арабской стране в целях смены неугодного режима и было встревожено введением санкций против Дамаска, так как Сирия была одним из ведущих торговых партнеров Иордании. В конце января 2012 г. иорданский премьер-министр Аун аль-Хасауна в интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат» призвал к отмене экономических ограничений, сославшись на то, что от них прежде всего страдает сирийский народ, а не руководство страны. Глава правительства также выступил против иностранного военного вмешательства в Сирии¹⁴.

Двойственность иорданского подхода к конфликту в САР, с одной стороны, привела к поддержке идеи политического урегулирования, с другой — выразилась в ограниченном и неафишируемом содействии усилиям государств, рассчитывающих устранить режим Б. Асада военным путем [Barnes-Dacey, 2013: 52]. Однако, не имея, в отличие от США, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, стратегических планов в отношении Сирии, Иордания сосредоточилась на недопущении распространения конфликта на свою территорию.

В 2011–2012 гг. королевству удавалось оставаться в стороне от прямого негативного влияния сирийских событий, так как поток беженцев был незначительным, а террористические исламистские группировки еще не выдвинулись в число ведущих игроков на сирийской арене. В этот период Иордания не вводила ограничений на въезд сирийцев в страну: с начала конфликта они свободно пересекали границу и оседали в городах в центре и на севере королевства. Некоторые предпочитали нелегальные маршруты из-за боязни, что им воспрепятствуют сирийские по-

¹⁴ Asharq Al-Awsat interview: Jordanian PM Awn Khasawneh // Asharq Al-Awsat. 29.01.2012. Available at: <https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/asharq-al-awsat-interview-jordanian-pm-awn-khasawneh> (accessed: 23.06.2019).

граничники. Попадая в руки иорданских властей, переселенцы беспрепятственно легализовались и получали свободу передвижения. На длительный срок задерживались только дезертиры из сирийской армии, но их было немного [Seeley, 2012].

В начале июня 2012 г. на учете УВКБ ООН стояли 21,4 тыс. сирийских беженцев, находившихся на территории Хашимитского Королевства. Общее число нуждавшихся в помощи сирийцев оценивалось иорданскими гуманитарными организациями в 30 тыс. человек, включая нелегалов¹⁵. Весной 2012 г. иорданские СМИ со ссылкой на анонимные источники в органах власти озвучивали цифру 78 тыс. человек с оговоркой, что учтены сирийцы, жившие в Иордании до 2011 г. [Seeley, 2012]. В конце мая 2012 г. иорданские транзитные пункты на границе с Сирией, не приспособленные для приема большого числа беженцев, оказались переполненными¹⁶. Однако это не было неожиданностью, так как постепенное переселение сирийцев в Иорданию происходило на протяжении нескольких месяцев войны.

По мере эскалации насилия в САР ситуация усугублялась. Массовый приток беженцев в Иорданию начался летом 2012 г. из-за ужесточения боев в различных частях соседней страны, особенно в приграничной юго-западной провинции Дераа. По данным ООН, к концу сентября 2012 г. в Иордании уже было 53,8 тыс. зарегистрированных беженцев, еще 40,6 тыс. ожидали регистрации. Власти оценивали численность всех сирийцев в королевстве в 200 тыс. человек¹⁷.

На этом фоне представители иорданского политического истеблишмента и экспертного сообщества стали часто выражать озабоченность в связи с увеличением числа сирийских беженцев и делать мрачные прогнозы на будущее. Внимание было заострено на трех проблемах. Во-первых, иорданцев все более беспокоило то, что в связи с усилением боевых действий в САР и отсутствием результатов первой международной Женевской конференции по Сирии (30 июня 2012 г.) количество вынужденных мигрантов и далее будет расти. Это создавало большую нагрузку на иордан-

¹⁵ Syria regional refugee response. Update № 7 // The UN Refugee Agency. 21.05.2012. P. 2. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_4054.pdf (accessed: 23.06.2019).

¹⁶ Syria: Numbers and locations of people fleeing internal violence // US Department of State, US Agency for International Development, UN OCHA, UNHCR, Internal Displacement Monitoring Centre. 27.09.2012. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3007.pdf (accessed: 23.06.2019).

¹⁷ Ibidem.

скую экономику и социальную инфраструктуру. Во-вторых, Аман старался избежать повторения вооруженных столкновений с сирийскими военными на ставшей нестабильной сирийско-иорданской границе, которые теперь периодически случались, и уж тем более не желал превращения иорданских северных провинций в территорию, где обосновались бы отряды антиасадовской вооруженной оппозиции, что грозило дальнейшими ответными мерами сирийских правительственных сил. В-третьих, сирийцы могли в перспективе остаться в королевстве надолго (как в свое время палестинские беженцы), в результате чего снизилась бы доля восточноиорданской общины¹⁸. Кроме того, между сирийцами и восточноиорданцами, несмотря на общеарабскую идентичность, принадлежность к суннитской ветви ислама и прочие сходства, есть серьезные социокультурные различия, которые препятствуют адаптации мигрантов. Так, по мнению более консервативных восточноиорданцев, сирийцы меньше руководствуются нормами ислама в своем поведении, женщины пользуются большей самостоятельностью. Восточноиорданцы, связанные племенными и клановыми узами, представляют собой достаточно закрытый социум, что затрудняет коммуникацию с сирийцами и ведет к их настороженному восприятию [Alshoubaki, Harris, 2018: 157]. В-четвертых, в случае поражения Б. Асада ситуация в Сирии стала бы непредсказуемой, и страна могла бы на долгие годы превратиться в еще один очаг напряженности и прибежище для разного рода террористов наряду с соседним Ираком. Даже укрепление относительно умеренных сирийских «Братьев-мусульман», составивших значительную часть антиправительственных группировок, могло бы усилить давление на власть со стороны иорданских «братьев», которые с конца 1980-х годов превратились в ведущую иорданскую оппозиционную организацию, а с начала войны в Сирии, в отличие от руководства страны, четко высказались в поддержку противников Б. Асада [Barnes-Dacey, 2013: 50–51]. Опрос, проведенный иорданским Центром стратегических исследований, показал, что 70% респондентов были настроены против того, чтобы продолжать пускать в страну сирийских беженцев¹⁹.

¹⁸ Fahim K. Jordan is anxious as Syrian refugees flood in // The New York Times. 26.07.2012. Available at: <https://www.nytimes.com/2012/07/26/world/middleeast/jordan-is-anxious-as-syrian-refugees-flood-in.html> (accessed: 23.06.2019).

¹⁹ Sweis Rana F. Resentment grows against Syrian refugees in Jordan // The New York Times. 09.05.2013. Available at: <https://www.nytimes.com/2013/05/09/world/middleeast/09iht-m09-jordan-syria.html> (accessed: 23.06.2019).

Политика Иордании в этом вопросе стала жестче, но новый подход пока не был распространен на всех сирийцев. В первую очередь пострадали палестинцы, проживавшие в Сирии и ставшие беженцами в результате арабо-израильских войн и «Черного сентября». Всего в САР к началу конфликта насчитывалось около 150 тыс. палестинских беженцев. Как отмечалось в докладе Human Rights Watch, еще с апреля 2012 г. их перестали пускать в Иорданию и высылали обратно в Сирию, в том числе были случаи отказа во въезде палестинцам, постоянно проживавшим в САР, но имевшим иорданское гражданство, хотя Амман официально отрицал эти факты. В результате число сирийских палестинцев в Иордании стабилизировалось на уровне около 14 тыс. человек²⁰. Другая категория дискриминируемых вынужденных мигрантов из Сирии — это активисты сирийской оппозиции, часть которых жаловались на то, что были высланы из Иордании²¹. Кроме того, иорданские пограничники старались не пускать в страну сирийских мужчин без родственников, подозревая, что они могут быть боевиками из рядов оппозиции²².

Весной 2013 г. верные Б. Асаду войска стали терпеть поражение от боевиков Сирийской свободной армии на юго-западе страны в провинции Дераа. В марте 2013 г. число сирийцев в Иордании достигло 420 тыс. и включало зарегистрированных и незарегистрированных беженцев²³. Ситуация выходила из-под контроля, и 25 марта 2013 г. Амман впервые с начала войны закрыл 30-километровый участок границы, протянувшийся от Дераа в сторону Голанских высот, и важнейший пропускной пункт «Джабер/Нассиб» на шоссе Амман–Дамаск с прилегающей к нему зоной свободной торговли. В мае 2013 г. во время ожесточенных боев в провинции Дераа Иордания закрыла 45 контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Сирией. Это

²⁰ Not Welcome. Jordan's treatment of Palestinians escaping Syria // Human Rights Watch. 2014. P. 1. Available at: https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0814_ForUpload_0.pdf (accessed: 23.06.2019).

²¹ Fahim K. Jordan is anxious as Syrian refugees flood in // The New York Times. 26.07.2012. Available at: <https://www.nytimes.com/2012/07/26/world/middleeast/jordan-is-anxious-as-syrian-refugees-flood-in.html> (accessed: 23.06.2019).

²² Jordan: Obama should press King on asylum seeker pushbacks // Human Rights Watch. 21.03.2013. Available at: <https://www.hrw.org/news/2013/03/21/jordan-obama-should-press-king-asylum-seeker-pushbacks> (accessed: 23.06.2019).

²³ Syria: Numbers and locations of people fleeing internal violence // US Department of State, US Agency for International Development, UN OCHA, UNHCR, Internal Displacement Monitoring Centre. 27.09.2012. Available at: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_3007.pdf (accessed: 23.06.2019).

было сделано не только ради сокращения притока сирийцев в Иорданию, особенно боевиков, но и для того, чтобы не дать потенциальным добровольцам из числа иорданских граждан или из других мусульманских стран перебраться в Сирию для участия в войне. Эксперт «Атлантического совета» при НАТО Г. Джонсон в этой связи обращал внимание, что шиитские боевики ливанской «Хизбаллы» и «добровольцы» из Ирана, воевавшие в САР на стороне Дамаска, взбудоражили иорданских суннитов-салафитов, начавших концентрироваться у границы, но власти отказывались пропустить их на сирийскую территорию²⁴.

Практика показывала, что для Иордании было бы предпочтительнее присутствие в приграничных районах сирийских правительственных войск (при условии недопущения там масштабных боевых действий, провоцирующих бегство людей), а не разнородных отрядов оппозиции, не способных обеспечить порядок. Меры, принятые руководством Хашимитского Королевства во второй половине 2012–2013 г., носили выборочный характер и не повлияли на общий масштаб сирийской вынужденной миграции. Скорее Иордания ограничивалась тем, что старалась не допустить «перелива» сирийского конфликта на свою территорию. В результате политики открытых границ к январю 2014 г., по данным УВКБ ООН, в стране скопилось 582,1 тыс. зарегистрированных беженцев²⁵.

Курс на сдерживание беженцев и ограничение их прав

В 2014 г. в связи с усилением угроз, исходивших от конфликта в Сирии, власти Хашимитского Королевства ужесточили контроль за границей, стали чаще закрывать пропускные пункты, а прием сирийцев резко сократился²⁶. Миграция в Иорданию усугубила сложную социально-экономическую обстановку, непростую демографическую ситуацию в стране и грозила политическим обострением в связи с перспективой изменения межобщинного баланса. Кроме того, новой проблемой на этом этапе стала дея-

²⁴ Johnson H. Why Jordan hesitates to back Syrian opposition // The Atlantic Council. 16.07.2013. Available at: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/why-jordan-hesitates-to-back-syrian-opposition> (accessed: 23.06.2019).

²⁵ Syria refugee regional response // UNHCR. 04.07.2019. Available at: <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36> (accessed: 23.06.2019).

²⁶ Living on the margins: Syrian refugees in Jordan struggle to access health care // Amnesty International. 2016. P. 6. Available at: https://www.amnestyusa.org/files/living_on_the_margins_-_syrian_refugees_struggle_to_access_health_care_in_jordan.pdf (accessed: 23.06.2019).

тельность террористических исламистских группировок в Сирии, вызывавших симпатии у иорданских радикальных исламистов. По разным данным, на стороне «ИГ» и «Джабхат ан-Нусры» в Сирии в сентябре 2014 г. воевали от 1,4 до 2 тыс. выходцев из Хашимитского Королевства [Abbad, 2015: 8]. Сообщения о вербовке боевиков в иорданских лагерях беженцев появлялись еще в 2013 г.²⁷ Иордания, будучи участницей международной коалиции по борьбе с «ИГ», созданной в сентябре 2014 г. по инициативе США, превратилась в потенциальную цель для террористов. Угроза была вполне реальной. В январе 2015 г. боевики «ИГ» в Сирии сожгли заживо попавшего в плен иорданского пилота Муазы аль-Касасбе. В последующие годы сторонники радикального ислама в Иордании стали регулярно проявлять активность (в качестве примеров можно привести громкое нападение террористов на полицейских и туристов в г. Кераке в декабре 2016 г., столкновения боевиков с силами безопасности в г. Салте в августе 2018 г. и ряд предотвращенных спецслужбами королевства терактов²⁸).

В 2015 г. иорданские власти в очередной раз закрыли пограничный переход «Джабер/Нассиб» (бездействовал до октября 2018 г.) после того, как сирийские правительственные силы были вынуждены отступить под натиском оппозиции, захватившей этот пункт [Yahya, 2018: 20]. Потенциальные мигранты скапливались вблизи границы с Иорданией на сирийской стороне, образуя палаточные лагеря. В январе 2015 г. некоторому числу сирийцев было позволено перебраться в демилитаризованную зону на иорданской территории, но в марте они были высланы обратно. В начале 2016 г. власти королевства признали наличие у его границ 16 тыс. сирийцев, желающих получить статус беженца, но заявили, что по соображениям безопасности впускать их не будут²⁹, хотя этот аргумент использовался скорее как предлог для отказа от предоставления сирийцам убежища.

²⁷ Онтиков А. Королевские игры: Иордания может стать следующей целью террористов // Известия. 03.11.2018. Доступ: [https://iz.ru/807719/andrei-ontikov/korolevskie-igry-iordaniia-mozhet-stat-sleduiushchei-tceliu-terroristov](https://iz.ru/807719/andrei-ontikov/korolevskie-igry-iordaniia-mozhet-stat-sleduiushchei-tseliu-terroristov) (дата доступа: 23.06.2019).

²⁸ Przyborowski E. Why Jordan is next for ISIS // The National Interest. 31.10.2018. Available at: <https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/why-jordan-next-isis-34792> (accessed: 23.06.2019).

²⁹ Letter and memorandum to donors attending the «Supporting Syria and the Region» conference // Human Rights Watch. 29.01.2016. Available at: <https://www.hrw.org/news/2016/01/29/letter-and-memorandum-donors-attending-supporting-syria-and-region-conference> (accessed: 23.06.2019).

В результате проведения политики сдерживания беженцев рост сирийской общины в Иордании в 2014 г. замедлился, а затем стабилизировался на уровне более 600 тыс. зарегистрированных переселенцев и около 700 тыс. незарегистрированных. С января 2014 по январь 2015 г. число вставших на учет сирийцев увеличилось на 41 тыс. — до 623,3 тыс. человек. Еще спустя год, в январе 2016 г., на территории Иордании насчитывалось 635,3 тыс. зарегистрированных беженцев³⁰. Динамика их прибытия (учтены только зарегистрированные переселенцы) выглядела следующим образом: в 2014 г. королевство приняло 62 тыс. человек (в четыре раза меньше, чем в 2013 г.), в 2015 г. — 14,4, в 2016 г. — 24,9, в 2017 г. — 2,9, в 2018 г. — 2,2 тыс., за первые четыре месяца 2019 г. — 353 человека³¹. Разница между числом ежегодно регистрировавшихся сирийцев и количеством прибывавших объясняется тем, что не все из них вставали на учет.

Общее число сирийцев на территории Иордании известно лишь приблизительно. Власти сообщали о почти 1,3–1,4 млн человек³², хотя весомых доказательств в пользу этой крайней оценки не приводили. Однако Амману выгодно подчеркивать масштаб проблемы беженцев, так как это подкрепляет его запросы на предоставление международной помощи [Tsourapas, 2019: 9]. В последующие годы эта цифра значительно не менялась. Даже начало осенью 2015 г. военной операции РФ в Сирии, целями которой были объявлены «стабилизация законной власти в стране и создание условий для поиска политического компромисса»³³, а также удары с воздуха западной коалиции против «ИГ» и вмешательство Турции на севере САР не привели к увеличению притока сирийцев в Иорданию, что свидетельствовало об эффективности принятых мер.

Что касается детальных сведений о составе сирийских беженцев в Иордании, то они доступны только в отношении официально зарегистрированных лиц и одинаково верны для промежутка 2014–2019 гг., так как в эти пять лет численность

³⁰ Syria refugee regional response // UNHCR. 04.07.2019. Available at: <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36> (accessed: 23.06.2019).

³¹ Registered Syrians in Jordan // UNHCR. 15.05.2019. Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69548.pdf> (accessed: 23.06.2019).

³² Obeidat O. Refugee influx could impact development goals // The Jordan Times. 12.08.2014. Available at: <http://www.jordantimes.com/news/local/refugee-influx-could-impact-development-goals%E2%80%9999> (accessed: 23.06.2019).

³³ Путин назвал основную задачу российских военных в Сирии // Интерфакс. 11.10.2015. Доступ: <https://www.interfax.ru/russia/472593> (дата обращения: 23.06.2019).

мигрантов оставалась стабильной. В мае 2019 г. в Иордании насчитывалось 665 949 зарегистрированных сирийских беженцев. Этнические и конфессиональные меньшинства (черкесы, армяне, алавиты, исмаилиты, друзы, арабы-христиане) составляют незначительную часть и в основном живут в городах Аммане и Ирбиде. Стремление представителей меньшинств селиться вне лагерей объясняется возможностями получить помощь диаспоры, а также желанием избежать соседства с сирийскими суннитами, поскольку на отношения с ними не могла не оказать влияния гражданская война, в которой конфессиональный фактор играет определенную роль в воспроизводстве насилия [Nasser, Charpentier, 2019: 11].

Большинство сирийцев являются беженцами из провинции Дераа — 270 тыс. человек (40,6%), на втором месте — выходцы из провинции Хомс — 106,34 (16%), на третьем — вынужденные мигранты из сельских районов, прилегающих к Дамаску, — 76,2 тыс. (11,4%). Из Алеппо в Иорданию переселились 73,9 тыс. человек (11,1%), из Хамы — 36,8 (5,5%), из Ракки — 18,2 тыс. (2,7%). Беженцы из других провинций — Дейр эз-Зор, аль-Хасаке, ас-Суеида, Идлиб, Латакия, Кунейтра, Тартус и др. — занимают от 0,1 до 1,8% общего количества зарегистрированных сирийцев³⁴. До исхода в Иорданию большинство беженцев проживали в сельских районах Сирии, где из-за длительной засухи, предшествовавшей началу антиправительственных выступлений, наблюдалась плачевная социально-экономическая ситуация³⁵. У многих прибывших в Иорданию не было заметных материальных накоплений, способных смягчить их положение, тем более что массовая миграция произошла на второй и третий годы войны. К этому времени экономика САР уже серьезно пострадала [Kraft et al., 2018: 11].

Возрастная структура беженцев выглядит следующим образом: дети до 4 лет составляют 15,1%, от 5 до 11 лет — 21,4, от 12 до 17 лет — 13,8, взрослые от 18 до 35 лет — 29,0, от 36 до 59 лет — 16,9, старше 60 лет — 3,9%³⁶. Доля детей младше 15 лет

³⁴ Registered Syrians in Jordan // UNHCR. 15.05.2019. Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69548.pdf> (accessed: 23.06.2019).

³⁵ Stave S., Hillesund S. Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market // International Labour Organization Regional Office for the Arab States and Fafo. 2015. P. 5. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_364162.pdf (accessed: 23.06.2019).

³⁶ Registered Syrians in Jordan // UNHCR. 15.05.2019. Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69548.pdf> (accessed: 23.06.2019).

среди беженцев заметно выше (на четверть), чем она составляла в общей численности населения Сирии к началу конфликта. Серьезных различий в других возрастных группах нет³⁷. Можно предположить, что эти пропорции применимы и к тем сирийцам, которые не встали на учет, хотя не исключена более высокая доля среди них людей трудоспособного возраста, так как незарегистрированные беженцы больше полагаются на свои силы, чем на помощь властей и гуманитарных организаций.

В лагерях беженцев в январе 2014 г. жили 127,9 тыс. человек, в январе 2015 г. — 100,3, в январе 2016 г. — 115,7, в январе 2017 г. — 141,1, в январе 2018 г. — 139,6, в январе 2019 г. — 126 тыс.³⁸ В городах расселены 542 643 человека (81,5%). Большинство зарегистрированных беженцев живут вне лагерей и сконцентрированы в северных провинциях Иордании, включая столичную мухафазу Амман (196,3 тыс. человек), Ирбид (139), Мафрак (85,5), Зарку (49,2 тыс.). Кроме того, в крупнейшем лагере «Заатари», открытом в июле 2012 г. в приграничной с Сирией провинции аль-Мафрак, на площади 5,2 км² проживают 77 тыс. человек. В следующем по величине лагере «Азрак» в провинции аз-Зарка, начавшем работу в апреле 2014 г., находятся 39,7 тыс. сирийцев. Еще 6,6 тыс. нашли приют в «Эмиратско-иорданском лагере» (также известен как «Мраджиб аль-Фхуд»), основанном при помощи ОАЭ в той же провинции в апреле 2013 г., чтобы снизить нагрузку на переполненный лагерь «Заатари». Дальнейшее сокращение притока беженцев и желание сирийцев расселяться в городах и пригородах способствовали стабилизации численности обитателей всех трех лагерей³⁹.

Стремление руководства королевства взять под контроль ситуацию с беженцами привело не только к закрытию границ, но и к введению дополнительных ограничений для сирийцев на территории Иордании, что осложнило условия их пребывания. Если ранее беженцы регистрировались, даже если у них не было полного пакета сирийских документов, то с 14 июля 2014 г. иорданские власти запретили регистрацию ряда категорий граждан

³⁷ Hanmer L., Arango D.J., Rubiano E. et al. How does poverty differ among refugees? Policy research working paper 8616 // The World Bank. October 2018. P. 7. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30586/WPS8616.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (accessed: 23.06.2019).

³⁸ Syria refugee regional response // UNHCR. 04.07.2019. Available at: <https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/36> (accessed: 23.06.2019).

³⁹ Registered Syrians in Jordan // UNHCR. 15.05.2019. Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/69548.pdf> (accessed: 23.06.2019).

Сирии и выдачу им свидетельств о том, что они являются лицами, ищущими убежища. Решение распространялось на сирийцев, которые покинули лагеря беженцев, не пройдя процедуру взятия на поруки. Она предполагала, что за сирийца должен поручиться иорданский гражданин мужского пола не моложе 35 лет, имеющий семейный статус, стабильную работу, без проблем с законом и находящийся в прямой родственной связи с переселенцем из Сирии. Процедура обходилась в 400–900 долл. Такие требования сильно сужали круг сирийцев, которые могли бы соблюсти все формальности. Не имея свидетельства лица, ищущего убежища, и «карты услуг», выдаваемой иорданским МВД, сирийцы не могли рассчитывать на помощь со стороны ООН, обращаться в иорданские медицинские учреждения, устраивать детей в иорданские школы, регистрировать браки, получать свидетельства о рождении и т.д.⁴⁰ [Achilli, 2015: 5–6].

В 2015 г. практика взятия на поруки была отменена. С февраля сирийцев, находившихся за пределами лагерей, обязали перерегистрироваться в МВД и получить новые биометрические удостоверения, дававшие право доступа к социальным услугам. Но и на этот раз на легализацию могли претендовать только обладатели свидетельства лица, ищущего убежища, и люди, покинувшие ранее лагеря беженцев через процедуру взятия на поруки. Кроме того, регистрация была платной, необходимо было предоставить полный пакет документов, удостоверяющих личность, а это было проблематично для многих сирийцев, в том числе потому, что иорданские пограничники по прибытии мигрантов в страну изымали у них документы. Дополнительным ограничением стало то, что от сирийцев требовалось предъявить среди прочих бумаг договор об аренде жилья, заключенный с иорданским собственником, и копии документов, удостоверяющих личность последнего⁴¹. Из-за этих ограничений к августу 2016 г. треть зарегистрированных сирийских беженцев не имели удостоверений иорданского МВД [Yahya, 2018: 20–21].

С ноября 2014 г. существенно ужесточились условия доступа сирийцев к медицинскому обслуживанию. До этого все обладатели документов, выданных иорданским МВД, получали помощь на бесплатной основе, как и граждане королевства, имеющие

⁴⁰ Living on the margins: Syrian refugees in Jordan struggle to access health care // Amnesty International. 2016. P. 14. Available at: https://www.amnestyusa.org/files/living_on_the_margins_-_syrian_refugees_struggle_to_access_health_care_in_jordan.pdf (accessed: 23.06.2019).

⁴¹ Ibid. P. 5.

медицинскую страховку. Теперь врачебные услуги для сирийцев стали платными, причем как иностранцы они должны были платить на 35–60% больше, чем незастрахованные иорданцы. Например, принятие родов для сирийских женщин обходилось в сумму не менее 200–300 долл.⁴²

Таким образом, вследствие политики Аммана, направленной на сокращение притока сирийцев, в Иордании, куда граждане САР и так отправлялись только из-за безвыходной ситуации на родине, для них были созданы дополнительные неблагоприятные условия: ограниченный доступ к социальным услугам и изоляция в лагерях беженцев для ослабления давления массы мигрантов на социальную сферу и рынок труда. Такие меры в сочетании с закрытием границы с Сирией привели к прекращению роста числа сирийских беженцев в Иордании.

Конструктивный подход в отношении беженцев

Проблема переселенцев из Сирии, оказавшихся в сопредельных с ней странах, прежде всего в Иордании, по ряду причин требовала нового подхода к ее решению. Во-первых, политика сдерживания не решала вопроса обустройства сирийцев, уже попавших на территорию королевства, который нельзя было игнорировать. Тупиковое положение в Сирии означало, что мигранты останутся в Иордании надолго и их маргинализация обернется целым комплексом проблем, как социально-экономических, так и связанных с ухудшением ситуации в сфере безопасности. Например, в лагерях беженцев периодически возникали беспорядки, вызванные плохими условиями жизни [Alshoubaki, Harris, 2018: 167]. Иордания остро нуждалась в увеличении международной помощи и свежих идеях, которые могли бы обосновать новые объемы пожертвований. Во-вторых, Хашимитское Королевство после мирового финансового кризиса 2008 г. испытывало глубокие социально-экономические проблемы, чреватые массовыми протестами и политическими потрясениями. Миграционный кризис усугубил положение простых иорданцев. В одном из интервью Абдалла II заявил, что терпение иорданского народа дошло до крайней точки и «рано или поздно <...> дамбу прорвет». По словам короля, западным странам важно понять, что Иордания — это государство, от которого зависит стабильность в регионе. «Международное сообщество всегда просило нас делать больше, чем можно ожидать от такой небольшой страны,

⁴² Ibid. P. 5–6.

как наша», — подчеркивал Абдалла II⁴³. В-третьих, европейский миграционный кризис 2015 г., связанный с притоком в регион приблизительно 1,5 млн беженцев, утвердил правительства членов Европейского союза во мнении, что решать данную проблему необходимо именно в регионах, которые являются источниками вынужденной миграции.

Предварительные договоренности, касавшиеся нового подхода к проблеме сирийских беженцев, обсуждались на встрече короля Абдаллы II, президента Всемирного банка Джим Ён Кима и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2015 г. Разработка концепции и деталей велась в течение 2015 г. С иорданской стороны этим занимался аналитический центр The West Asia-North Africa (WANA) Institute под руководством принца Хасана бен Талала, одного из ведущих иорданских интеллектуалов, имеющего мировой авторитет [Barbelet et al., 2018: 3]. С западной стороны большую роль сыграли предложения двух признанных специалистов по проблемам миграции из Оксфордского университета А. Бэттса и П. Коллиера, побывавших в Иордании в лагерях беженцев и местах их расселения в городах. В конце 2015 г. они опубликовали статью во влиятельном американском журнале «Foreign Affairs», в которой, опираясь на пример Иордании, призвали решать три задачи одновременно: улучшать условия жизни сирийских мигрантов; развивать экономики соседних с Сирией стран, принявших наибольшее число беженцев; создавать базу для успешного постконфликтного восстановления САР. Смягчить миграционный кризис эксперты предлагали, предоставив беженцам доступ к социальным услугам и легальную работу, причем таким образом, чтобы это помогало экономическому развитию страны-реципиента. Авторы предложения осознавали, что власти Хашимитского Королевства с недоверием отнесутся к идее частичной интеграции беженцев, так как привыкли воспринимать их как вызов стабильности страны. А. Бэттс и П. Коллиер надеялись, что безвыходное положение Иордании и финансовая помощь со стороны международного сообщества заставят ее изменить подход к вынужденным мигрантам. По замыслу британских ученых, лагеря беженцев и места их компакт-

⁴³ Interview with His Majesty King Abdullah II for BBC // BBC. 02.02.2016. Available at: <https://kingabdullah.jo/en/interviews/interview-his-majesty-king-abdullah-ii-2> (accessed: 23.06.2019).

ного проживания в крупных иорданских городах превратятся в «индустриальные инкубационные зоны», где сирийцы получат образование, новую квалификацию и рабочие места. Кроме того, демаргинализация беженцев станет гарантией, что в будущем они примут деятельное участие в постконфликтной реконструкции в Сирии, а не превратятся в «горючий материал», с которым будут работать вербовщики из экстремистских организаций [Betts, Collier, 2015: 2–5].

Первая международная конференция, посвященная помощи беженцам из Сирии, состоялась в Лондоне 4 февраля 2016 г. В ней приняли участие главы ряда государств и представители гуманитарных организаций. Ведущую роль в проведении мероприятия сыграли Великобритания, Германия, Норвегия, Кувейт и ООН. Участники конференции пообещали предоставить рекордные суммы (около 12 млрд долл., главные доноры — Великобритания, Германия, США) для помощи сирийцам в Турции, Ливане и Иордании и признали, что для решения проблемы недостаточно только гуманитарной помощи и необходимо реализовывать модель адаптации беженцев, ранее предложенную экспертами.

Конференция не была в полной мере инклюзивной, так как на нее не пригласили представителей правительства САР (впоследствии делегаты от Дамаска не были приглашены на вторую, третью и четвертую конференции), а также не рассматривали вопрос о помощи внутренне перемещенным лицам в Сирии. Кроме того, из всех трех государств (Турция, Иордания и Ливан), ситуации в которых была посвящена конференция, именно Хашимитскому Королевству был отдан приоритет, что объяснялось не только его ключевой ролью в регионе, но и тем, что Иордания, в отличие от Турции, испытывавшей похолодание в отношениях с ЕС и США, была более готова к конструктивному партнерству с Западом. Преимущество Иордания по сравнению с Ливаном, который в последние годы погряз в череде президентских, парламентских и правительственных кризисов, заключалось в наличии сильной и дееспособной исполнительной власти.

Достигнутые договоренности были названы «Иорданским соглашением» (Jordan Compact)⁴⁴. Оно предусматривало: а) ока-

⁴⁴ The Jordan Compact: A new holistic approach between the Hashemite Kingdom of Jordan and the international community to deal with the Syrian refugee crisis // Supporting Syria and the region. London Conference, 2016. P. 1–3. Available at: <https://web.archive.nationalarchives.gov.uk/20180601145910/https://2c8kkt1ykog81j8k9p47oglb-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/02/Supporting-Syria-the-Region-London-2016-Jordan-Statement.pdf> (accessed: 23.06.2019).

вание Иордании помощи в виде грантов и займов на конкретные цели; б) выдачу иорданскими властями беженцам 200 тыс. разрешений на работу в определенных секторах экономики; в) создание более выгодного для королевства режима торговли с ЕС сроком на 10 лет при условии, что экспортируемая в Европу продукция будет производиться на территории 18 иорданских экономических и промышленных зон с привлечением сирийской рабочей силы (не менее 25% работников с начала 2019 г.); г) обеспечение доступа сирийцев к образованию и социальным услугам [Howden, 2017: 4–5].

«Иорданское соглашение» получило серьезное финансовое обеспечение и стало примером того, как политическая воля и активное взаимодействие между государствами-донорами, международными организациями и ближневосточными странами, принявшими наибольшее число сирийских беженцев, позволили в короткие сроки собрать большие финансовые средства для помощи мигрантам и странам-реципиентам. По официальным иорданским данным, в 2016 г. на реализацию Плана реагирования на миграционный кризис (Jordan Response Plan), разработанного Министерством планирования и международного сотрудничества ИХК, было привлечено 1,63 млрд долл., что на треть больше, чем в предыдущие годы. В дополнение Всемирный банк предоставил 78 млн долл. и ряд льготных займов для экономического развития, создания новых рабочих мест и улучшения инфраструктуры⁴⁵.

Следующая международная донорская конференция по Сирии, в которой приняли участие представители более 70 стран, прошла в Брюсселе 5 апреля 2017 г. К концу года Иордании было направлено 2,6 млрд долл., в том числе 960 млн в виде грантов и 1,6 млрд в виде займов⁴⁶. Третья конференция также состоялась в столице Бельгии 24–25 апреля 2018 г. На ней присутствовали представители 57 государств, в том числе России, Турции, Ирана, США, Саудовской Аравии. По итогам 2018 г. Иордания привлекла 3,1 млрд долл. помощи, в том числе 940 млн

⁴⁵ Annex: Supporting resilience of host countries and refugees in the context of the Syrian crisis // European Council, Council of the European Union. 05.04.2017. P. 1. Available at: <https://www.consilium.europa.eu/media/24068/annex-jordan.pdf> (accessed: 23.06.2019).

⁴⁶ Supporting Syria and the region: Post-Brussels conference financial tracking. Report five // European Council, Council of the European Union. 2018. P. 7. Available at: https://www.consilium.europa.eu/media/33790/supporting-syria-and-the-region_post-brussels-conference-tracking-proces.pdf (accessed: 23.06.2019).

в виде грантов и 2,2 млрд в виде льготных займов⁴⁷. 12–14 марта 2019 г. в Брюсселе прошла очередная, четвертая, конференция, собравшая представителей 85 стран. Участники пообещали пожертвовать около 9 млрд долл. в 2019 г., еще 2,4 млрд — в 2020 г. и последующий период. Основными донорами и заимодавцами, как и ранее, выступили Германия, ЕС, США, Великобритания, Канада, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие европейские структуры⁴⁸. В 2016–2019 гг. в опубликованных документах по итогам донорских конференций не уточнялись суммы, предназначавшиеся конкретной стране на текущий год; детальные цифры оглашались лишь по предыдущему году (начиная со второй конференции). По оценке иорданского руководства, в 2019 г. на реализацию Плана реагирования, включая помощь развитию иорданских регионов, в наибольшей степени пострадавших от миграционного кризиса, обеспечение безопасности, улучшение инфраструктуры, компенсацию финансовых потерь королевства от войны в САР, требуется не менее 2,4 млрд долл.⁴⁹

Таким образом, с 2016 г. было многое сделано для улучшения положения беженцев, однако ситуация в целом остается противоречивой и сложной. По состоянию на май 2019 г. сирийским беженцам выдано 138 тыс. разрешений на работу. При этом 304,1 тыс. сирийцев — это мужчины и женщины трудоспособного возраста⁵⁰. Для сирийцев были открыты лишь некоторые сферы профессиональной деятельности (сельское хозяйство, строительство, производство), чтобы они не составляли конкуренции для иорданцев. Те сирийцы, которые до войны работали учителями, инженерами, юристами, медиками, не имеют законной возможности трудоустройства по специальности, и это положение

⁴⁷ Supporting Syria and the region: Post-Brussels conference financial tracking. Report seven // European Council, Council of the European Union. 2019. P. 7. Available at: <https://www.consilium.europa.eu/media/38467/syria-report-seven-revised-final.pdf> (accessed: 23.06.2019).

⁴⁸ Co-chairs' statement annex: Fundraising supporting the future of Syria and the region — Brussels III Conference Brussels // European Council, Council of the European Union. 2019. P. 1–4. Available at: https://www.consilium.europa.eu/media/38579/14-03-2019-pledging-statement_final_rev.pdf (accessed: 23.06.2019).

⁴⁹ Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2019 // The Jordan Response Platform for the Syria Crisis (JRPSC). P. 12. Available at: <https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/5c9211e6e79c7001701ba9b3/1553076715901/Final+2019+JRP.pdf> (accessed: 23.06.2019).

⁵⁰ Economic inclusion of Syrian refugees Jordan // UNHCR. 2019. P. 1–2. Available at: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69904> (accessed: 23.06.2019).

вряд ли изменится. Сирийские женщины мало заинтересованы в получении разрешений, так как или занимаются домашним хозяйством, или предпочитают нелегально работать в сфере услуг и предпринимательства, которая не включена в перечень секторов экономики, открытых для беженцев [Morris et al., 2018: 8–9]. Сирийцы не спешат обращаться за разрешениями на работу из-за высокой стоимости услуги по легализации [Yahya, 2018: 21]. Наконец, многие сирийцы к моменту начала реализации решений Лондонской конференции по беженцам уже нелегально работали на более привлекательных и лучше оплачиваемых должностях. Официальные рабочие места в основном ограничены предприятиями на территории индустриальных зон, что не всегда подходит сирийцам, поскольку дорога до работы из лагерей беженцев занимает много времени и требует значительных затрат [Schubert, Naase, 2018: 100–101]. Кроме того, чтобы компенсировать появление большого числа легальной сирийской рабочей силы, власти начали ужесточать условия для египетских трудовых мигрантов (которых в королевстве насчитывалось несколько сотен тысяч), занятых в тех же отраслях [Tsourapas, 2019: 9].

Сохраняется неудовлетворительная ситуация и в сфере образования. Из 233 тыс. сирийских детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет школу не посещают 73 тыс. В 2018–2019 учебном году в соответствии с Национальным стратегическим планом по развитию образования, подготовленным Министерством образования Иордании, в связи с увеличением числа учащихся были приняты на работу более 7 тыс. учителей⁵¹. В сфере здравоохранения Иордания пошла на послабления для сирийцев, снизив на 20% плату за медицинские услуги в местных учреждениях. Помимо этого бесплатная медицинская помощь, хотя далеко не в полном объеме, оказывается по линии УВКБ ООН⁵².

Признавая наличие существенного прогресса в реализации «Иорданского соглашения», следует отметить, что интеграции беженцев в экономику Хашимитского Королевства не произошло. Скорее отмечается некоторое улучшение их положения при

⁵¹ Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2019 // The Jordan Response Platform for the Syria Crisis (JRPSC). P. 7. Available at: <https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/5c9211e6e79c7001701ba9b3/1553076715901/Final+2019+JRP.pdf> (accessed: 23.06.2019).

⁵² 3RP Regional, refugee and resilience plan. Annual report. 2018 // UNHCR. P. 9. Available at: <https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68557> (accessed: 23.06.2019).

сохранении высокого уровня бедности, трудностей с получением образования и доступом к медицинским услугам. Тем не менее согласно проведенным опросам около 88% сирийцев считают, что условия их жизни в Иордании лучше, чем в Ливане или Турции [El-Gamal, 2019: 9]. Иорданские власти признают недостаточность усилий по решению проблемы беженцев и в первую очередь делают акцент на необходимости увеличения объемов международной помощи.

Сирийско-иорданское сближение в свете трансформации конфликта в Сирии

Реализация Хашимитским Королевством нового подхода в отношении беженцев была тесно связана с развитием ситуации в Сирии, где параллельно происходили серьезные подвижки в сторону укрепления положения властей САР и деэскалации конфликта. Иордания заняла более гибкую позицию, отойдя от прежней политики, выражавшейся в ограниченной поддержке действий противников Б. Асада, в успех и позитивный эффект которой в Аммане никогда особо не верили. В рамках прежнего курса в 2013 г. в иорданской столице при поддержке западных партнеров был организован Центр военного сотрудничества, который начал активную работу после объединения в феврале 2014 г. около 50 разнородных оппозиционных группировок светского и исламистского толка, действовавших на юге Сирии, в так называемый Южный фронт. Создавая эти структуры, США и их европейские и арабские союзники надеялись укрепить антиасадовские силы. Абдалла II скорее рассчитывал, что Центр и Фронт стабилизируют положение в приграничных регионах, так как воцарение там хаоса после ухода сирийских правительственных войск могло привести к увеличению потока беженцев в Иорданию и росту угроз ее безопасности. Последнее соображение по мере успехов «ИГ» и «Джабхат ан-Нусры» приобретало все большую актуальность. Однако курс на поддержку так называемой умеренной оппозиции не приносил ощутимых результатов, в том числе для Хашимитского Королевства. Новая возможность изменить ситуацию в пользу Иордании представилась после начала операции российских Военно-космических сил в Сирии с конца сентября 2015 г.

На фоне ослабления интереса США к конфликту Амман сделал ставку на конструктивный диалог с Москвой при одобрении со стороны Вашингтона. Между Россией и Иорданией было достигнуто неформальное соглашение о том, что российско-си-

рийская операция не будет направлена против оппозиционных сил в провинции Дераа, а те в свою очередь сосредоточатся на борьбе с местными группировками, связанными с «халифатом» [Macaron, 2017].

Благодаря военным и дипломатическим успехам РФ ситуация в Сирии менялась в лучшую сторону. Во второй половине 2017 г. при поддержке трех стран — участниц Астанинского процесса (России, Турции и Ирана) и наблюдателей в лице США и Иордании были созданы четыре зоны деэскалации, в том числе на юго-западе Сирии. Иорданские власти очень рассчитывали на стабилизацию обстановки в провинции Дераа. В январе 2018 г. в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. В июле на сирийской авиабазе Хмеймим был учрежден Центр приема, распределения и размещения беженцев (в декабре 2018 г. переименован в Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев). Эти шаги привели к некоторому снижению уровня насилия на отдельных территориях и создавали условия для работы международных гуманитарных организаций, но до полного прекращения боевых действий, как и до достижения политического урегулирования сирийского конфликта, еще далеко. Тем не менее в Сирии появились условия для отказа многих граждан страны от вынужденной миграции, а новая обстановка даже способствовала возвращению некоторых беженцев на родину.

Противники процесса деэскалации из числа радикальных сирийских группировок предприняли несколько атак против Иордании. С июня 2016 г. после нападения «ИГ» на иорданских пограничников, в результате которого погибли шесть военных, Иордания закрыла границу⁵³, что негативно отразилось на сирийских внутренних беженцах, которые скапливались в палаточных лагерях у границы с королевством, но по-прежнему были лишены возможности найти безопасное укрытие на иорданской территории. Например, около 40 тыс. человек оказались изолированы в лагере «Рукбан» в демилитаризованной зоне на стыке границ Иордании, Ирака и Сирии на юго-востоке сирийской провинции Хомс. Лагерь находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе и имеет репутацию одного из самых проблемных с точки зрения условий проживания

⁵³ Jordan: Background and U.S. relations. Congressional Research Service. P. 9 // Federation of American Scientists. 09.04.2019. Available at: <https://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf> (accessed: 23.06.2019).

ния и активных действий боевиков-исламистов⁵⁴. Иорданские власти также периодически высылали сирийцев на родину, но приводимые наблюдателями цифры депортированных незначительны (несколько сотен человек) и скорее говорят о том, что эта исключительная мера была продиктована соображениями безопасности⁵⁵.

В июле 2018 г. сирийские правительственные силы установили контроль над приграничными с Иорданией районами провинции Дераа, выдавив оттуда отряды оппозиции. Случившееся отвечало интересам Хашимитского Королевства, доказательством чего стала серия шагов, направленных на нормализацию отношений с САР. В октябре 2018 г. благодаря посредничеству России между Иорданией и Сирией был вновь открыт пограничный переход и зона свободной торговли «Джабер/Нассим». Возобновление работы перехода привело к оживлению иордано-сирийской торговли, обещало улучшение экономического положения северных провинций Иордании и создавало в будущем перспективу реинтеграции Сирии в региональную экономику, так как через эти две страны до войны шел транзит товаров из государств Аравийского полуострова в Ливан и далее в Европу [Mogielnicki, Wermenbol, 2018]. Открытие КПП способствовало возвращению на родину примерно 15 тыс. сирийцев в период с ноября 2018 по февраль 2019 г.⁵⁶ Это скромная цифра, но следует принимать во внимание, что с января 2016 по июнь 2018 г. в Сирию из Иордании вернулись около 17 тыс. беженцев⁵⁷. В январе 2019 г. в иорданское посольство в Дамаске был назначен временный поверенный в делах, и повышение уровня дипломатических отношений свидетельствовало о прогрессе в двусторонних связях.

Иордано-сирийское сближение поставило Амман в сложное положение перед Вашингтоном, который продолжал придержи-

⁵⁴ Шелудкова И. Рукбан: ловушка для сирийских беженцев // Евроньюс. 22.11.2018. Доступ: Available at: <https://ru.euronews.com/2018/11/22/rukban-refugee-campin-syria-situation-very-difficult> (дата обращения: 23.06.2019).

⁵⁵ Spangler M. Syria's refugees begin their journey home // The Foreign Policy. 04.04.2019. Available at: <https://foreignpolicy.com/2019/04/04/home-sweet-syria/> (accessed: 23.06.2019).

⁵⁶ Najjar F. HRW: Jordan 'summarily deporting Syrian refugees' // Al Jazeera Media Network. 03.10.2017. Available at: <https://www.aljazeera.com/news/2017/10/jordan-summarily-deporting-syrian-refugees-hrw-171002131634501.html> (accessed: 23.06.2019).

⁵⁷ Ghazal M. UNHCR validating number of Syrian returnees from Jordan // The Jordan Times. 12.03.2019. Available at: <http://www.jordantimes.com/news/local/%E2%80%98unhcr-validating-number-syrian-returnees-jordan%E2%80%9999> (accessed: 23.06.2019).

ваться более жесткой позиции в отношении сирийского режима, особенно рассчитывая на экономические рычаги давления. В марте 2019 г. посол РФ в Иордании Г. Десятников сообщил, что королевство «сталкивается с серьезными препятствиями со стороны США, представители которых открытым текстом угрожают иорданскому бизнесу, который стремится вернуться в Сирию, разнообразными санкциями»⁵⁸. По данным российского арабоязычного телеканала «Русия аль-Яум», в середине июня 2019 г. Иордания из-за нажима Соединенных Штатов была вынуждена наложить запрет на сирийский экспорт в страну. Вашингтон также настаивал на полном закрытии пограничного перехода «Джабер/Нассим»⁵⁹.

* * *

Таким образом, одним из результатов конфликта в Сирии стал массовый приток сирийских беженцев в Иорданское Хашимитское Королевство: их число составило более 600 тыс. по данным ООН и более 1,3 млн по данным иорданских властей. Вынужденная миграция сирийцев обострила социально-экономические проблемы Иордании, где в последнее десятилетие наблюдаются низкие темпы роста ВВП и высокая безработица. С 2011 г., когда в страну стали прибывать первые жертвы конфликта, и по настоящее время действия иорданского руководства в отношении беженцев претерпели существенные изменения. В 2011–2013 гг. проводилась политика открытых границ — сирийцы беспрепятственно проникали в Иорданию. После резкого увеличения числа беженцев Амман с 2013–2014 гг. начал принимать меры по сдерживанию потенциальных вынужденных мигрантов и смог путем закрытия границ и сохранения неблагоприятных условий для беженцев на территории Иордании стабилизировать их численность. Реализации этого курса способствовала специфика иорданской правовой базы, регулирующей проблемы мигрантов и беженцев, так как королевство, в отличие от западных стран, изначально не стремилось связывать себя жесткими международно-правовыми обязательствами в этой области. Однако с

⁵⁸ Российский посол рассказал об угрозах в адрес Иордании со стороны США // РИА «Новости». 14.03.2019. Доступ: <https://ria.ru/20190314/1551785071.html> (дата обращения: 23.06.2019).

⁵⁹ US pressures Jordan to freeze trade with Syria and close border crossing: Report // Al Masdar News. 17.06.2019. Available at: <https://www.almasdarnews.com/article/us-pressure-jordan-to-freeze-trade-with-syria-and-close-border-crossing-report/> (accessed: 23.06.2019).

2016 г. Иордания перешла к более гибкой политике в отношении беженцев, с одной стороны, продолжая препятствовать их притоку на свою территорию, а с другой — используя переселенцев для получения от США, ЕС и международных организаций дополнительного финансирования, которое не только помогает смягчить влияние сирийского кризиса, но и способствует развитию инфраструктуры и некоторых сфер экономики.

Что касается перспектив эволюции проблемы сирийских беженцев для Иордании, то они всецело зависят от процесса урегулирования конфликта в САР. Положение в этой стране, несмотря на тенденцию к деэскалации благодаря изменению соотношения сил в противостоянии властей и оппозиции в пользу нынешней правящей элиты, результативному диалогу, который ведут внешние акторы, и провалу проекта альтернативной государственности, предложенного «ИГ», пока далеко от установления мира. Еще более сложен крайне актуальный вопрос о постконфликтном восстановлении Сирии. Вокруг него ведется жесткая политическая игра, так как «Россия, Иран и Китай <...> проявляют устойчивый интерес к участию в восстановлении САР, тогда как страны Запада, “традиционные” доноры, которые исторически несли основное финансовое бремя по восстановлению постконфликтных государств, а также ряд их партнеров в регионе заняли обструкционистскую позицию, поставив участие в реконструкции областей, подконтрольных Дамаску, в зависимости от хода политического процесса» [Бар-тнев, 2018: 756–757].

В этих условиях трудно ожидать массового возвращения сирийских беженцев из Иордании, которые считают Сирию небезопасной и опасаются, что даже в постконфликтный период в сирийском обществе сохранится культура насилия. Значительная часть беженцев хотели бы вернуться в свободное, демократическое, правовое и инклюзивное государство, в котором бы состоялся процесс национального примирения. Переселенцы, которые поддерживают Б. Асада и отдают приоритет таким ценностям, как стабильность и безопасность, полагают, что эти условия, необходимые для их возвращения в страну, будут созданы скоро, в то время как критики режима настроены скептически [Yahya, 2018: 39–40].

Несмотря на отказ Аммана от политики маргинализации сирийцев и переход к курсу на их адаптацию, результаты скорее позволяют говорить о смягчении для Иордании проблемы сирийских беженцев, чем о ее решении. Этому способствует и

политика Б. Асада, направленная на изменение демографической ситуации в подконтрольных правительственным силам районах Сирии, так как сокращение доли суннитского населения за счет его бегства из зон конфликта укрепляет позиции режима, имеющего наибольшую поддержку среди сирийских алавитов и христиан [Abu Ahmad, 2018]. Скорее саму Иорданию ожидает усиление внутренней миграции из ставшего экономически неблагополучным и страдающим от недостатка воды севера страны в ее центральные районы. Позитивные достижения нестандартного подхода властей Хашимитского Королевства (т.е. своего рода, по выражению британского исследователя Г. Цурапаса, получение ренты от иностранных государств за расселение на своей территории беженцев [Tsourapas, 2019]) не перекрывают тех многочисленных и разнообразных рисков, которыми оборачивается присутствие сирийских граждан.

По оценке правительства Иордании, с 2011 г. ущерб страны от последствий конфликта в Сирии составил 11 млрд долл. В эту цифру входят расходы на социальную сферу и инфраструктуру, меры по укреплению безопасности и потери от прекращения торгово-экономических отношений с САР⁶⁰. Состояние иорданской экономики очень сложное, что объясняется не только притоком беженцев, но и нарушением внешнеторговых связей королевства, снижением его привлекательности для иностранных инвесторов, падением доходов от туризма, в том числе из-за экономического спада в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Население Иордании уже несколько лет страдает от высокого уровня безработицы (18,6% в 2018 г.), зависит от субсидий властей, занятости в госсекторе и переводов от иорданских трудовых мигрантов в странах Персидского залива. Рост ВВП остается низким — 2,1% в 2017 г., 2,4 — в 2018 г. и ожидаемые 2,5% — в 2019 г.⁶¹ Примерно на таком же уровне после прекращения экономического бума 2005–2008 гг. (рост экономики до 8% в год) ВВП оставался в преддверии «иорданской весны» [Демченко, 2012: 323, 327].

⁶⁰ Jordan Response Plan for the Syrian Crisis 2019 // The Jordan Response Platform for the Syria Crisis (JRPSC). P. 7. Available at: <https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/5c9211e6e79c7001701ba9b3/1553076715901/Final+2019+JRP.pdf> (accessed: 23.06.2019).

⁶¹ Jordan's economic outlook // The World Bank. 16.04.2018. Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/jordan/publication/economic-outlook-april-2018> (accessed: 23.06.2019).

Оживление экономической ситуации в Иордании в случае начала постконфликтной реконструкции Сирии не гарантирует социально-политической стабильности. Скорее оно может спровоцировать новую напряженность в обществе, так как структурные реформы, которые различные иорданские правительства постепенно осуществляют в последнее десятилетие, предполагают сокращение государственных расходов на социальную сферу, включая субсидирование цен на продукты, приватизацию предприятий, уменьшение числа госслужащих и другие непопулярные меры. В ответ иорданцы в неблагополучных провинциях, считая, что государство нарушает условия «социального контракта» (лояльность в обмен на обеспечение минимально приемлемого уровня жизни), устраивают акции протеста, выливающиеся в столкновения с полицией. «Хлебные бунты» в 2017 г. случались в Салте, Кераке, Мадабе. Серьезные выступления в 2018 г. в Маане в ответ на планы властей увеличить налоги, а также рост цен на бензин и электроэнергию вынудили правительство отложить и смягчить пакет реформ⁶². Тревогу властей вызывает то, что традиционно протесты против повышения цен на хлеб дополняются политическими требованиями: борьбы с коррупцией, ограничения королевской власти и усиления роли парламента, пересмотра отношений с Израилем. Предлагаемые оппозицией реформы носят революционный характер и грозят нарушить ту систему сдержек и противовесов, которая позволяла Хашимитской династии десятилетиями править Иорданией, обреченной выживать в неблагоприятных внутренних и внешних условиях. Во дворце, вероятно, недооценивают запрос на реформу политической системы, считая, что недовольство вызвано высокой коррупцией и социально-экономическими трудностями. Однако борьба короля с этими проблемами больших успехов также не приносит. В последние три десятилетия на фоне экономической либерализации и усиления урбанизации иорданские провинции, где сосредоточена значительная часть восточноиорданцев, чувствуют себя забытыми властями, что подтачивает социальную базу монархии. Приток сирийских беженцев, пусть пока временно, но усугубивший экономические трудности и изменивший иорданскую демографию, еще более

⁶² Аль-Макалех (Дубовикова) М. В Аммане все неспокойно // Российский совет по международным делам. 14.06.2018. Доступ: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/v-ammane-vse-nespokoyno/> (дата обращения: 23.06.2019).

способствует эрозии отношений между Хашимитской династией и восточноиорданцами.

Массовые выступления в стране в 2017–2018 гг. показали, что попытки властей объяснить социально-экономические трудности проблемой сирийских беженцев безуспешны, хотя в другом отношении конфликт в Сирии оказался для режима «полезен»: иорданцы на печальном примере соседей усвоили, что протесты с целью добиться улучшений могут привести к обратным результатам.

Таким образом, Иордания сумела избежать самых худших последствий, которые могли бы быть результатом влияния сирийской гражданской войны. Очевидно, что королевство пережило самую острую ее фазу, с трудом сохранило баланс между собственными интересами, выражавшимися в нежелании втягиваться в конфликт, и приоритетами спонсоров, добивавшихся от Аммана более активной поддержки сирийской вооруженной оппозиции, взяло ситуацию с беженцами под контроль, добилось увеличения внешней финансовой и военной помощи и подтвердило статус одного из ключевых акторов на Ближнем Востоке. Однако динамика сирийского конфликта и системные проблемы Иордании дают основания полагать, что положение в стране в ближайшей перспективе едва ли утратит свою остроту, а кризис беженцев как минимум в течение нескольких лет останется фактором, определяющим социально-экономическое и политическое развитие Хашимитского Королевства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев В.И. «Взаимно гарантированная обструкция»? Россия, страны Запада и политические дилеммы восстановления Сирии // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 4. С. 755–774. DOI: 10.22363/2313-0660-2018-18-4-755-774.

2. Демченко А.В. Иордания // Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012. С. 321–337.

3. Малахов В.С. Миграционный кризис: международное сотрудничество и национальные стратегии. Российский совет по международным делам, 2016. Доступ: <https://russiancouncil.ru/upload/MigrationCrisis-Policybrief10-ru.pdf> (дата обращения: 23.06.2019).

4. Наумкин В.В., Кузнецов В.А., Сухов Н.В., Звягельская И.Д. Ближний Восток в эпоху испытаний: травмы прошлого и вызовы будущего: Доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». М., 2016. Доступ: <http://book.ivran.ru/f/dokladblichnij-vostok-v-epohu-ispytaniy.pdf> (дата обращения: 23.06.2019).

5. Хлебникова Л.Р. США и проблемы обеспечения стабильного развития Иорданского Хашимитского Королевства в исторической ретроспективе // Вестник Московского университета. Сер. 25: Международные отношения и мировая политика. 2018. № 3. С. 79–120.

6. Abbadi S. Jordan in the shadow of ISIS // Counter Terrorist Trends and Analyses. 2015. Vol. 7. № 2. P. 8–12.

7. Abu Ahmad I. Assad's Law 10: Reshaping Syria's demographics. The Washington Institute for Near East Policy, 2018. Available at: <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-reshaping-syrias-demographics> (accessed: 23.06.2019).

8. Achilli L. Syrian refugees in Jordan: A reality check. Migration Policy Centre. EUI, 2015. Available at: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC_2015-02_PB.pdf (accessed: 23.06.2019).

9. Alshoubaki W., Harris M. The impact of Syrian refugees on Jordan: A framework for analysis // Journal of International Studies. 2018. № 11 (2). P. 154–179. DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-2/11.

10. Barbelet V., Hagen-Zanker J., Mansour-Ille D. The Jordan Compact: Lessons learnt and implications for future refugee compacts. ODI Briefing papers, 2018. Available at: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12058.pdf> (accessed: 23.06.2019).

11. Barnes-Dacey J. Jordan: Stability at all costs // The regional struggle for Syria / Ed. by J. Barnes-Dacey, D. Levy. The European Council on Foreign Relations, 2013. P. 49–54. Available at: https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR86_SYRIA_REPORT.pdf (accessed: 23.06.2019).

12. Betts A., Collier P. Help refugees help themselves: Let displaced Syrians join the labor market // Foreign Affairs. 2015. Vol. 94. No. 6. Available at: <https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5530/v16/undervisningsmateriale/help-refugees-help-themselves-let-displaced-syrians-join-the-labor-market-%282%29.pdf> (accessed: 23.06.2019).

13. El-Gamal J.M. The displacement dilemma: Should Europe help Syrian refugees return home? European Council on foreign relations, 2019. Available at: https://www.ecfr.eu/page/-/the_displacement_dilemma_should_europe_help_syrian_refugees_return_home.pdf (accessed: 23.06.2019).

14. Francis A. Jordan's refugee crisis. Carnegie Endowment for International Peace, 2015. Available at: https://carnegieendowment.org/files/CP_247_Francis_Jordan_final.pdf (accessed: 23.06.2019).

15. Gomez M.P., Christensen A. The impacts of refugees on neighboring countries: A development challenge. World development report 2011. Background note, 2010. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27710/620580WP0The0I0BOX0361475B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (accessed: 23.06.2019).

16. Howden D., Patchett H., Alfred C. The compact experiment: Push for refugee jobs confronts reality of Jordan and Lebanon. Refugees Deeply Quarterly, 2017. Available at: <https://s3.amazonaws.com/newsdeeply/public/quarterly3/RD+Quarterly+-+The+Compact+Experiment.pdf> (accessed: 23.06.2019).

17. Kraft C., Sieverding M., Salemi C., Keo C. Syrian refugees in Jordan: Demographics, livelihoods, education, and health. The Economic Research Forum, 2018. Available at: https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2018/04/1184_Final.pdf (accessed: 23.06.2019).

18. Lischer S.K. The Global refugee crisis: Regional destabilization and humanitarian protection // *Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences*. 2017. № 46 (4). P. 85–97. DOI: 10.1162/DAED_a_00461.
19. Macaron J. Jordan and the US-Russia deal in Southern Syria. Arab Center Washington, D.C., 2017. Available at: http://arabcenterdc.org/policy_analyses/jordan-and-the-us-russia-deal-in-southern-syria/ (accessed: 23.06.2019).
20. Mogielnicki R., Wermenbol G. Border opportunities: Reviving the Jordan-Syria free trade zone. The Middle East Institute, 2018. Available at: <https://www.mei.edu/publications/border-opportunities-reviving-jordan-syria-free-trade-zone> (accessed: 23.06.2019).
21. Morris J., Pack C., Warshafsky S.H. et al. Manufacturing landscapes: The politics and practices of the Jordan refugee compact. Zolberg Institute, 2018. Available at: <https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2018/09/Amman-final-report.pdf> (accessed: 23.06.2019).
22. Murdoch J., Sandler T. Civil wars and economic growth: A regional comparison // *Defence and Peace Economics*. 2002. Vol. 13 (6). P. 451–464. DOI: doi.org/10.1080/10242690214336.
23. Nasser C., Charpentier Z. An uncertain homecoming: Views of Syrian refugees in Jordan on return, justice, and coexistence. Research report. The International Center for Transitional Justice, 2019. Available at: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_SyrianRefugees_Jordan_Final.pdf (accessed: 23.06.2019).
24. Salehyan I. The externalities of civil strife: Refugees as a source of international conflict. Paper presented at the conference on 'Migration, international relations, and the evolution of world politics'. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Princeton University, 2007. Available at: <https://itservices.cas.unt.edu/~idean/RefugeesWar.pdf> (accessed: 23.06.2019).
25. Schubert M., Haase I. How to combat the causes of refugee flows. The EU-Jordan Compact in practice. The Konrad-Adenauer-Stiftung, 2018. Available at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7c25eba0-342f-b05a-7022-212b042ebffe&groupId=252038 (accessed: 23.06.2019).
26. Seeley N. Jordan's 'open door' policy for Syrian refugees // *The Foreign Policy*. 01.03.2012. Available at: <https://foreignpolicy.com/2012/03/01/jordans-open-door-policy-for-syrian-refugees/> (accessed: 23.06.2019).
27. Tsourapas G. The Syrian refugee crisis and foreign policy decision-making in Jordan, Lebanon, and Turkey // *Journal of Global Security Studies*. 2019. Preprint. P. 1–18. Available at: https://www.academia.edu/37984469/The_Syrian_Refugee_Crisis_and_Foreign_Policy_Decision-Making_in_Jordan_Lebanon_and_Turkey (accessed: 23.06.2019). DOI: 10.1093/jogss/ogz016.
28. Whitaker B.E. Refugees in Western Tanzania: The distribution of burdens and benefits among local hosts // *Journal of Refugee Studies*. 2002. № 15 (4). P. 339–358. Available at: <https://pages.uncc.edu/beth-whitaker/wp-content/uploads/sites/39/2012/02/whitaker-JRS-2002.pdf> (accessed: 23.06.2019). DOI: 10.1093/jrs/15.4.339.
29. Yahya M. Unheard voices. Carnegie Endowment for International Peace, 2018. Available at: https://carnegieendowment.org/files/Yahya_UnheardVoices_INT_final.pdf (accessed: 23.06.2019).

A.V. Demchenko

**REFUGEE CRISIS IN JORDAN:
THE LOGIC OF DEVELOPMENT
AND POSSIBLE SOLUTIONS**

*Institute of Oriental Studies
12 Rozhdestvenka Str, Moscow, 107031*

One major consequence of the conflict in Syria, giving it a truly international dimension, is an unprecedented refugee crisis. The 2015 refugee crisis in the European Union received particularly broad media coverage. However, one should not lose sight of the fact that the largest number of refugees from Syria streamed into neighboring countries, dramatically altering social, economic and political situation there. In this regard the case of the Hashemite Kingdom of Jordan deserves special attention. According to various estimates, Jordan hosted from 600 000 to over 1 300 000 Syrian refugees. At the same time, Jordan's refugee policy has some peculiarities due to a complex structure of its society and, as a result, the need to maintain an intercommunity balance. The author shows how these circumstances influenced Jordanian legal framework on the issues of migration and asylum. The paper examines the evolution of the Jordan government approaches to the issue of Syrian refugees from 2011, when the country hosted first victims of the conflict, to the present days. In particular, the author emphasizes that if in 2011–2013 refugees could enter the Jordan territory almost without any obstacles, then in 2013–2014 Amman, facing a constantly growing number of refugees, tightened up its asylum policy considerably. However it soon became evident that restrictive measures could not, per se, improve the social and economic situation in the country and have led to criminalization of migrants. As a result, in 2016 the Jordan government took a more flexible stance. On the one hand, Jordan continued to restrict the inflow of refugees but, on the other hand, tried to capitalize on them by seeking additional funding from the United States, the European Union and international organizations in order to mitigate the adverse impacts of the Syrian crisis and to promote its own infrastructural and economic development. However, the author concludes that the prospects for the settlement of the Syrian refugee crisis in Jordan remain unclear. They are wholly dependent on the process of conflict settlement in Syria and should it fail a fragile demographic and political balance in the kingdom will be irretrievably lost.

Keywords: Jordan, Syria, Russia, the United States, conflict in Syria, refugees, war on terror, foreign assistance.

About the author: *Aleksander V. Demchenko* — PhD (History), the Academic Secretary at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (e-mail: demchok@yandex.ru).

Acknowledgments: The research has been accomplished with a financial support from the Russian Science Foundation, project №17-18-01614.

REFERENCES

1. Bartenev V.I. 2018. 'Vzaimno garantirovannaya obstruktsiya'? Rossiya, strany Zapada i politicheskie dilemmy vosstanovleniya Sirii ['Mutually assured obstruction'? Russia, the West and political dilemmas of Syria's reconstruction]. *Vestnik RUDN. International Relations*, vol. 18, no. 4, pp. 755–774. DOI: 10.22363/2313-0660-2018-18-4-755-774. (In Russ.)
2. Demchenko A.V. 2012. Iordaniya [Jordan]. In Naumkin V.V., Popov V.V., Kuznetsov V.A. (eds.). *Blizhnii Vostok, 'Arabskoe probuzhdenie' i Rossiya: chto dal'she?* [The Middle East, 'Arab awakening' and Russia: What's next?]. Moscow, IV RAN, pp. 321–337. (In Russ.)
3. Malakhov V.S. 2016. *Migration crisis: International cooperation and national strategies*. Russian International Affairs Council. Available at: <https://russiancouncil.ru/upload/MigrationCrisis-Policybrief10-en.pdf> (accessed: 23.06.2019).
4. Naumkin V., Sukhov N., Kuznetsov V., Zvyagelskaya I. 2016. *The Middle East in a time of troubles: Traumas of the past and challenges of the future*. Valdai Discussion Club Report. Available at: <http://book.ivran.ru/f/dokladblichnij-vostok-v-epohu-ispytanij.pdf> (accessed: 23.06.2019).
5. Khlebnikova L.R. 2018. SShA i problemy obespecheniya stabil'nogo razvitiya Iordanskogo Khashimitskogo Korolevstva v istoricheskoi retrospektive [The United States and the challenges of the Hashemite Kingdom of Jordan's internal stability: A historical retrospective]. *Moscow University Bulletin of World Politics*, vol. 10, no. 3, pp. 79–120. (In Russ.)
6. Abbadi S. 2015. Jordan in the shadow of ISIS. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, vol. 7, no. 2, pp. 8–12.
7. Abu Ahmad I. 2018. *Assad's Law 10: Reshaping Syria's demographics*. The Washington Institute for Near East Policy. Available at: <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assads-law-10-reshaping-syrias-demographics> (accessed: 23.06.2019).
8. Achilli L. 2015. *Syrian refugees in Jordan: A reality check*. Migration Policy Centre. EUI. Available at: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/34904/MPC_2015-02_PB.pdf (accessed: 23.06.2019).
9. Alshoubaki W., Harris M. 2018. The impact of Syrian refugees on Jordan: A framework for analysis. *Journal of International Studies*, no. 11 (2), pp. 154–179. DOI: 10.14254/2071-8330.2018/11-2/11.
10. Barbelet V., Hagen-Zanker J., Mansour-Ille D. 2018. *The Jordan Compact: Lessons learnt and implications for future refugee compacts*. ODI Briefing papers. Available at: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12058.pdf> (accessed: 23.06.2019).
11. Barnes-Dacey J. 2013. Jordan: Stability at all costs. In Barnes-Dacey J., Levy D. (eds.). *The regional struggle for Syria*. The European Council on Foreign Relations, pp. 49–54. Available at: https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR86_SYRIA_REPORT.pdf (accessed: 23.06.2019).
12. Betts A., Collier P. 2015. Help refugees help themselves: Let displaced Syrians join the labor market. *Foreign Affairs*, vol. 94, no. 6. Available at: [168](https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5530/v16/undervisningsmateriale/help-</div><div data-bbox=)

refugees-help-themselves-let-displaced-syrians-join-the-labor-market-%282%29.pdf (accessed: 23.06.2019).

13. El-Gamal J.M. 2019. *The displacement dilemma: Should Europe help Syrian refugees return home?* European Council on foreign relations. Available at: https://www.ecfr.eu/page/-/the_displacement_dilemma_should_europe_help_syrian_refugees_return_home.pdf (accessed: 23.06.2019).

14. Francis A. 2015. *Jordan's refugee crisis*. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: https://carnegieendowment.org/files/CP_247_Francis_Jordan_final.pdf (accessed: 23.06.2019).

15. Gomez M.P., Christensen A. 2010. *The impacts of refugees on neighboring countries: A development challenge*. World development report 2011. Background note. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27710/620580WP0The0I0BOX0361475B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (accessed: 23.06.2019).

16. Howden D., Patchett H., Alfred C. 2017. *The compact experiment: Push for refugee jobs confronts reality of Jordan and Lebanon*. Refugees Deeply Quarterly. Available at: <https://s3.amazonaws.com/newsdeeply/public/quarterly3/RD+Quarterly+-+The+Compact+Experiment.pdf> (accessed: 23.06.2019).

17. Kraft C., Sieverding M., Salemi C., Keo C. 2018. *Syrian refugees in Jordan: Demographics, livelihoods, education, and health*. The Economic Research Forum. Available at: https://erf.org.eg/wp-content/uploads/2018/04/1184_Final.pdf (accessed: 23.06.2019).

18. Lischer S.K. 2017. The Global refugee crisis: Regional destabilization and humanitarian protection. *Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences*, no. 46 (4), pp. 85–97. DOI: 10.1162/DAED_a_00461.

19. Macaron J. 2017. *Jordan and the US-Russia deal in Southern Syria*. Arab Center Washington, D.C. Available at: http://arabcenterdc.org/policy_analyses/jordan-and-the-us-russia-deal-in-southern-syria/ (accessed: 23.06.2019).

20. Mogielnicki R., Wermenbol G. 2018. *Border opportunities: Reviving the Jordan-Syria free trade zone*. The Middle East Institute. Available at: <https://www.mei.edu/publications/border-opportunities-reviving-jordan-syria-free-trade-zone> (accessed: 23.06.2019).

21. Morris J., Pack C., Warshafsky S.H. et al. 2018. *Manufacturing landscapes: The politics and practices of the Jordan refugee compact*. Zolberg Institute. Available at: <https://zolberginstitute.org/wp-content/uploads/2018/09/Amman-final-report.pdf> (accessed: 23.06.2019).

22. Murdoch J., Sandler T. 2002. Civil wars and economic growth: A regional comparison. *Defence and Peace Economics*, vol. 13 (6), pp. 451–464. DOI: doi.org/10.1080/10242690214336.

23. Nasser C., Charpentier Z. 2019. *An uncertain homecoming: Views of Syrian refugees in Jordan on return, justice, and coexistence*. Research report. The International Center for Transitional Justice. Available at: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ_Report_SyrianRefugees_Jordan_Final.pdf (accessed: 23.06.2019).

24. Salehyan I. 2007. *The externalities of civil strife: Refugees as a source of international conflict*. Paper presented at the conference on 'Migration, international relations, and the evolution of world politics'. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Princeton University. Available at: <https://itservices.cas.unt.edu/~idean/RefugeesWar.pdf> (accessed: 23.06.2019).

25. Schubert M., Haase I. 2018. *How to combat the causes of refugee flows. The EU-Jordan Compact in practice*. The Konrad-Adenauer-Stiftung. Available at: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7c25eba0-342f-b05a-7022-212b042ebffe&groupId=252038 (accessed: 23.06.2019).

26. Seeley N. 2012. Jordan's 'open door' policy for Syrian refugees. *The Foreign Policy*. Available at: <https://foreignpolicy.com/2012/03/01/jordans-open-door-policy-for-syrian-refugees/> (accessed: 23.06.2019).

27. Tsurapas G. 2019. The Syrian refugee crisis and foreign policy decision-making in Jordan, Lebanon, and Turkey. *Journal of Global Security Studies*, preprint, pp. 1–18. Available at: https://www.academia.edu/37984469/The_Syrian_Refugee_Crisis_and_Foreign_Policy_Decision-Making_in_Jordan_Lebanon_and_Turkey (accessed: 23.06.2019). DOI: 10.1093/jogss/ogz016.

28. Whitaker B.E. 2002. Refugees in Western Tanzania: The distribution of burdens and benefits among local hosts. *Journal of Refugee Studies*, no. 15 (4), pp. 339–358. Available at: <https://pages.uncc.edu/beth-whitaker/wp-content/uploads/sites/39/2012/02/whitaker-JRS-2002.pdf> (accessed: 23.06.2019). DOI: 10.1093/jrs/15.4.339.

29. Yahya M. 2018. *Unheard voices*. Carnegie Endowment for International Peace. Available at: https://carnegieendowment.org/files/Yahya_UnheardVoices_INT_final.pdf (accessed: 23.06.2019).

А.И. Василенко*

**ДОЛГОЕ ЭХО КОНФЛИКТА:
ПАМЯТЬ О «ЧЕРНОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ» 1990-х ГОДОВ
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ АЛЖИРА**

*Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт востоковедения Российской академии наук»
107031, Москва, ул. Рождественка, 12*

Новейшая история Алжира не раз становилась предметом специального рассмотрения как в отечественных, так и в зарубежных международно-политических исследованиях. При этом в центре внимания ученых, как правило, оказывались либо перипетии развития внутривнутриполитической ситуации в стране в последние годы, либо процессы постконфликтного восстановления, развернувшиеся на рубеже 1990–2000-х годов. Однако, как подчеркивает автор, для того чтобы приблизиться к пониманию динамики развития политических процессов в Алжире в настоящий момент, данные проблемы нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. В статье предпринята попытка системно изучить роль травматичного опыта постконфликтного восстановления в формировании современной алжирской политической культуры.

Автор выделяет четыре периода новейшей истории Алжира, в каждый из которых проблема преодоления конфликтности получала специфическое наполнение. Сначала изучены первые шаги, предпринятые алжирским руководством в конце 1990-х — середине 2000-х годов для прекращения насилия и восстановления функционирования государственных органов. При этом автор отмечает, что алжирское правительство сочетало меры, направленные на установление диалога с оппозицией, с активным применением военной силы против радикальных исламистов. На втором этапе (вторая половина 2000-х годов) ключевой задачей власти стала консолидация общества, на третьем, начавшемся с «арабской весны», — недопущение революционного сценария и новой дестабилизации политической системы. Наконец, на четвертой стадии, обозначившейся массовыми протестами в 2019 г., элиты приложили все усилия, чтобы даже при быстрой смене политического режима были сохранены основы конституционного строя. Автор отмечает, что важную консолиди-

* Василенко Анастасия Игоревна — лаборант-исследователь Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН (e-mail: avasilenkan@gmail.com).

рующую роль при этом сыграло наличие в алжирском обществе живой памяти о гражданском конфликте, которая, с одной стороны, позволила удержать массовое протестное движение в мирном русле, а с другой — толкала элиты к проведению более гибкого курса и поиску компромиссов с оппозицией. Можно видеть, как наследие конфликта, несмотря на быстро меняющуюся политическую конъюнктуру в стране, оказывало прямое влияние на политический процесс. Даже перестав напрямую определять политическую повестку, оно все же предопределяло стратегии поведения как гражданского общества, так и элит.

Ключевые слова: Алжир, постконфликтное восстановление, миростроительство, историческая память, Северная Африка, «Арабское пробуждение».

Весна 2019 г. в вечно неспокойном регионе Ближнего Востока и Северной Африки ознаменовалась как минимум двумя событиями, заставившими многочисленных аналитиков¹ говорить о втором издании «Арабского пробуждения»: свержением политических режимов в Алжире² и Судане³. При всей любви политологов и экспертов к широким обобщениям приходится признать, что если алжирские события и сыграли демонстрационную роль для Судана на начальном этапе протестов, то далее ситуация в двух странах развивалась совершенно по-разному. Специфика

¹ Захаров А., Исаев Л. Куда идет вторая арабская весна // Ведомости. 22.04.2019. Доступ: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/04/21/799779-vtoraya-arabskaya-vesna> (дата обращения: 26.07.2019); Зотин А. Опять пришла «арабская весна» // Новая газета. 13.04.2019. Доступ: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/04/13/80214-opyat-prishla-arabskaya-vesna> (дата обращения: 26.07.2019); Строкань С. Арабская весна 2.0 // Коммерсантъ. 14.03.2019. Доступ: <https://www.kommersant.ru/doc/3909022> (дата обращения: 26.07.2019); Ayoob M. Will the second Arab Spring go the way of the first? // Center for the National Interest. 20.04.2019. Available at: <https://nationalinterest.org/feature/will-second-arab-spring-go-way-first-53357> (accessed: 26.07.2019); England A. In Algeria and Sudan, a second Arab Spring is brewing // The Financial Times. 11.04.2019. Available at: <https://www.ft.com/content/f15e999c-5c32-11e9-9dde-7aedca0a081a> (accessed: 26.07.2019); Walsh N. 'Arab Spring 2.0' is a reboot full of bugs // CNN. 13.04.2019. Available at: <https://edition.cnn.com/2019/04/13/middleeast/npw-arab-spring-sudan-analysis-intl/index.html> (accessed: 26.07.2019).

² Светлова К. Без пятого срока. Почему «арабская весна» опоздала в Алжир на восемь лет // Московский центр Карнеги. 12.03.2019. Доступ: <https://carnegie.ru/commentary/78560> (дата обращения: 26.07.2019).

³ Беленькая М. Двойной переворот в юбилей переворота. Кто выиграл от смены власти в Судане // Московский центр Карнеги. 12.04.2019. Доступ: <https://carnegie.ru/commentary/78861> (дата обращения: 26.07.2019).

алжирских выступлений определялась не только конкретными обстоятельствами, сложившимися в государстве, но и всей современной политической культурой Алжира, сформировавшейся в значительной степени под влиянием конфликтного опыта 1990-х годов и последующего периода постконфликтного восстановления. Оценить этот опыт сегодня, понять, до какой степени он продолжает оказывать влияние на политический процесс, в чем это влияние заключается, представляется чрезвычайно важным.

В российской историографии тема постконфликтного восстановления до недавнего времени почти отсутствовала, и хотя в последние годы ситуация несколько изменилась, прежде всего в связи с событиями в Сирии [Бартенев, 2018]⁴, в общем и целом она остается все еще недостаточно изученной.

Иначе обстоит дело с исследованием алжирского «черного десятилетия», которому посвящено множество работ (например, А.И. Куприна [Куприн, 2004а, 2004b] и Б.В. Долгова [Долгов, 2004, 2009]). Политические и социально-экономические аспекты развития Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) анализируются в трудах Р.Г. Ланды [Ланда, 1998, 1999, 2001]. Особенности функционирования и развития политической системы Алжира рассматривают А.Г. Вирабов [Вирабов, 1996, 1998, 2001], Н.В. Мохов [Мохов, 2007, 2016], М.А. Сапронова [Сапронова, 1999]. При этом если А.Г. Вирабов акцентирует внимание на специфике либерализации общественно-политической системы, то Н.В. Мохов сосредотачивается на вопросах формирования алжирского национального государства и выявлении истоков его устойчивости, а М.А. Сапронова фокусируется на изучении конституционного процесса в сравнительной перспективе. Б.В. Долгов [Долгов, 2012, 2015] и Л.М. Исаев [Исаев, 2013] анализируют влияние «арабской весны» на развитие политической системы Алжира.

При всей важности указанных исследований обращает на себя внимание тот факт, что современный политический процесс рассматривается в них вне всякой связи с вопросами постконфликтного восстановления, долгое время не привлекавшими никакого исследовательского внимания.

⁴Бартенев В.И. Восстановление Сирии. С чего начать? // Международный дискуссионный клуб «Валдай». 21.02.2019. Доступ: <http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/s-chego-nachat/> (дата обращения: 23.06.2019).

Между тем в зарубежной историографии сложилась противоположная ситуация: постконфликтное восстановление рассматривается в ней обычно в отрыве от последующих политических трансформаций. Гораздо больше внимания западные авторы уделяют проблематике гражданского примирения. Среди исследователей этого направления можно выделить Р. Тлемсани⁵ и Б. Маккуина [MacQueen, 2009], рассматривающих разрешение конфликтов в арабском мире на примере Алжира и Ливана, а также Дж. Лё Сёра [Le Sueur, 2010], анализирующего гражданскую войну и мирные инициативы после нее. Антитеррористическую стратегию Алжира изучала группа авторов: Н. Хасан, Б. Хендрикс, Ф. Янссен и Р. Мэйджер [Hasan et al., 2012].

В целом ни в зарубежной, ни в отечественной литературе пока что не был системно рассмотрен вопрос о влиянии постконфликтного восстановления на дальнейшее политическое развитие Алжира.

Описав в общих чертах методологические аспекты этой проблемы, мы проанализируем затем текущую ситуацию в стране и рассмотрим, каким образом в ней отразился опыт постконфликтного политического восстановления.

Постконфликтное восстановление: несколько методологических замечаний

В конце 1990-х годов, когда гражданское противостояние в Алжире, иногда обозначаемое как гражданская война [Ланда, 1999; Hagelstein, 1998], подходило к концу, само понятие «постконфликтное восстановление», хотя и использовалось в работах политологов [Bigombe et al., 2000], еще не было принято и определено на международно-правовом уровне.

Существенную роль в его разработке сыграли такие известные исследователи, как Й. Галтунг, прославившийся трудами по типологии политического насилия и международным конфликтам [Galtung, 1976, 1996], Т.Э. Флорес и И. Нуруддин [Flores, Nooruddin, 2009].

Последние два автора, интегрировав политическую повестку в проблематику постконфликтного восстановления, выявили обратную зависимость экономического роста от скорости демо-

⁵Tlemçani R. Algeria under Boutefflika: Civil strife and national reconciliation // Carnegie Middle East Center. No. 7. 2008. Available at: https://carnegieendowment.org/files/cmec7_tlemcani_algeria_final.pdf (accessed: 13.05.2019).

кратизации. Как отмечали исследователи, слабость политической власти в постконфликтный период, делающая невозможным поддержание устойчивого мира, препятствует инвестициям, что, естественно, замедляет процесс восстановления. В связи с этим с точки зрения постконфликтной реконструкции ключевое значение приобретает способность акторов обеспечить стабильность и эффективность политических институтов, вовсе не обязательно демократических. Более того, сравнивая различные случаи экономической реконструкции, исследователи пришли к выводу, что немедленная постконфликтная демократизация, неизменно означающая формирование поначалу хрупкой системы, замедляет столь необходимое обществу восстановление. Другой важный вывод этих авторов состоял в том, что прямая военная победа закладывает основу для более длительного мира, чем урегулирование путем переговоров.

Между тем в разработанном примерно в то же время подходе ООН, во многом опирающемся на идеи Й. Галтунга о прямом, структурном и культурном насилии, выводы американских авторов (скептические в отношении перспектив немедленной демократизации) отражения не нашли.

С одной стороны, в этом подходе под постконфликтным восстановлением, как правило⁶, подразумевается экономическая повестка — «процесс восстановления базовой инфраструктуры и услуг, а также обеспечения доступа к услугам, ресурсам и средствам к существованию»⁷. С другой стороны, рядом с этим понятием и практически синонимично часто используется термин «миростроительство» (peace-building), означающий уже не только экономические, но также социальные и политические меры: «...действия по укреплению и упрочению мира после гражданских беспорядков, включающие такие функции, как разоружение ранее воевавших сторон и восстановление порядка, хранение и возможное уничтожение оружия, репатриация беженцев, консультативная и учебная поддержка для сотрудников служб безопасности, мониторинг выборов, продвижение усилий по защите прав человека, реформирование или укрепление

⁶Сервис UNTERM (The United Nations Terminology Database) позволяет отследить, как часто термин используется в документах организации.

⁷Post-conflict reconstruction // UNTERM. Available at: <http://unterm.un.org/UNTERM/search?urlQuery=post-conflict+reconstruction> (accessed: 07.11.2018).

государственных институтов и содействие формальным и неформальным процессам политического участия»⁸.

Эти понятия были сведены воедино в «Докладе Генерального секретаря о миростроительстве в постконфликтный период»⁹ 2012 г. В документе обозначены следующие приоритетные направления деятельности в рамках постконфликтной реконструкции¹⁰.

Первое охватывает военно-политические меры и включает поддержание безопасности, разминирование территорий, демилитаризацию населения, демобилизацию и реинтеграцию участников боевых действий.

Два затрагивают политические вопросы: поддержка политических процессов и начало инклюзивного диалога; восстановление функционирования государственных органов.

Наконец, еще два касаются социально-экономических проблем: обеспечение доступного водоснабжения, здравоохранения и начального образования, возвращение и реинтеграция внутренне перемещенных лиц и беженцев; содействие восстановлению экономики, а также создание рабочих мест и источников дохода.

В универсальности подхода ООН кроются одновременно его сила и слабость. Сила, естественно, определяется его применимостью практически ко всем постконфликтным ситуациям, учетом большинства проблем и вопросов, без решения которых невозможно налаживание нормальной жизни в пострадавших от вооруженного насилия обществах. Слабость же этого подхода связана не только с игнорированием специфики каждого отдельного случая (вполне естественным для подхода, претендующего на универсальность), но и с осязательным идеализмом, делающим фактическое применение всей описанной повестки в конкретных политических условиях просто невозможным.

В этой связи при обращении к опыту Алжира в области постконфликтного восстановления за основу представляется целесообразным взять упомянутые концептуальные разработки Э. Флореса и И. Нуруддина и сосредоточить внимание прежде всего на политических аспектах данных процессов.

⁸ Peace-building // UNTERM. Available at: <http://unterm.un.org/UNTERM/search?urlQuery=peace-building> (accessed: 07.11.2018).

⁹ Миростроительство в постконфликтный период. Док. ООН A/67/499-S/2012/746 от 08.10.2012 // ООН. Доступ: <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/67/499> (дата обращения: 07.11.2018).

¹⁰ Там же. С. 7–8.

Эхо конфликта в политической культуре Алжира

Если рассматривать современную политическую историю Алжира через призму преодоления конфликтности 1990-х годов, то, как представляется, в ней может быть выделено четыре периода, на каждом из которых это преодоление играло свою роль — всегда разную, но неизменно значимую.

1 этап (конец 1990-х — первая половина 2000-х годов). События «черного десятилетия» 1990-х годов, повлиявшие на все сферы жизни алжирского общества, до сих пор вызывают много споров.

Как известно, поводом к конфликту стал первый тур выборов в Национальное народное собрание в 1991 г., когда оппозиционный Исламский фронт спасения (ИФС) завоевал 47,27% голосов [Ланда, 1998], получив 44,76% депутатских мандатов (188 из 420). Было очевидно, что во втором туре ИФС сможет одержать полную победу и получить 2/3 мест. Это дало бы ему право изменить Конституцию и провозгласить Алжир исламским государством со всеми вытекающими из этого последствиями для законодательства, поскольку свою конечную цель лидеры ИФС видели в «построении подлинно исламского общества в соответствии с заветами Пророка» [Долгов, 2004: 51].

Стремясь воспрепятствовать такому развитию событий, противники исламистов сыграли на опережение: 11 января 1992 г., за пять дней до второго тура, президент Шадли Бенджедид¹¹ под давлением военных подал в отставку. Совет национальной безопасности, состоявший из премьер-министра, начальника Генштаба и ряда министров, отменил выборы и ввел войска в столицу. С протестами выступили все основные политические силы. Власть перешла к Высшему государственному совету (ВГС).

Руководство АНДР и некоторые исследователи [Куприн, 2004b; Ланда, 2001] оправдывают отмену результатов первого тура выборов в 1991 г. перспективой установления в стране исламского правления. Другие же авторы [Hasan et al., 2012; Kaye et al., 2008], а также сами представители ИФС рассматривают произошедшее как военный переворот, осуществленный в целях сохранения власти у прежней элиты.

¹¹ Шадли Бенджедид (1929–2012) — третий президент Алжира (1979–1992), возглавивший страну после смерти Хуари Бумедьена (1932–1978). После свержения Бен Беллы (19 июня 1965 г.) занимал важные правительственные посты, включая ключевые военные командные должности. Переизбирался на пост президента в 1985 и 1989 гг.

В целом данный конфликт можно назвать локальным, трансформировавшимся из политического в вооруженный после того, как оппозиция начала использовать террористические методы.

Несмотря на разные оценки тех событий, относительно их объективных и субъективных причин в научном сообществе достигнут определенный консенсус. Так, к первым относят напряженную социально-экономическую обстановку и ухудшение уровня жизни [Миронова, 2004]. Среди вторых обычно называют коррумпированность управления и недостаточную представленность оппозиционных сил в государственных структурах [Вирабов, 2001; Ланда, 1998]. Ключевым фактором перерастания конфликта в вооруженную фазу стало наличие у обеих сторон годами сформированной привычки к использованию насилия для достижения политических целей. Так, военное руководство страны, имевшее за спиной опыт сражений в борьбе за независимость, выступало за полное уничтожение исламистов, а они в свою очередь прошли через вооруженную борьбу в Афганистане [Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте, 2018]. Бескомпромиссность обеих сторон и нежелание идти на уступки способствовали затяжному характеру конфликта.

На политико-правовом уровне восстановление конституционного порядка в стране началось в середине 1990-х годов — после проведения первых альтернативных президентских выборов в ноябре 1995 г.¹², принятия на референдуме действующей Конституции АНДР в ноябре 1996 г., а также парламентских и муниципальных выборов в 1997 г. И хотя конфликт еще продолжался, эти действия можно считать началом долгого процесса миростроительства в Алжире.

Уже на его первом этапе были выполнены основные задачи, которые спустя почти два десятилетия были специально выделены в упомянутом докладе Генерального секретаря ООН¹³: восстановлено функционирование высших государственных органов и начат диалог с оппозицией.

¹² Несмотря на угрозы исламистов и призывы ИФС, Фронта национального освобождения (ФНО) и Фронта социалистических сил (ФСС) бойкотировать выборы, а также благодаря обеспеченной военными безопасности, согласно официальным данным, 75,7% избирателей приняли участие в выборах. Ламин Зеруаль получил 61% голосов, Махфуд Нахнах, лидер партии ХАМАС, — 25,6, Саид Саади, глава партии «Объединение за культуру и демократию», — 9,6, Нуреддин Букур от Партии алжирского обновления — 3,8%.

¹³ Миростроительство в постконфликтный период. Док. ООН А/67/499–S/2012/746 от 08.10.2012 // ООН. Доступ: <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/67/499> (дата обращения: 07.11.2018).

Основой для демилитаризации¹⁴ и реинтеграции участников боевых действий стало принятие Закона о гражданском согласии в 1999 г.¹⁵ Легший в основу предвыборной программы Абдельазиза Бутефлики, он представлял собой дополненную версию закона предыдущего президента страны Ламина Зеруаля о помиловании (*rahma*), отвергнутого правительством в феврале 1995 г.¹⁶ Реализация этого плана стала первым шагом новоизбранного главы государства¹⁷.

Мирная инициатива была поддержана Исламской армией спасения¹⁸. Однако против примирения выступили сторонники жесткого курса в алжирском руководстве и командиры сформировавшихся в ходе борьбы с джихадистами отрядов местной самообороны. Тогда А. Бутефлика 12 июня 1999 г. объявил о намерении провести референдум. Прямое обращение к населению не только позволяло подорвать сопротивление президентскому законопроекту, но и было важным инструментом повышения доверия к нему. Во время подготовки к голосованию 8 июля 1999 г.

¹⁴ Более широко она развернулась в начале 2000-х годов. Некоторые ополченцы отказывались сдавать оружие добровольно, поэтому полностью завершить процесс демилитаризации гражданского населения удалось лишь к середине 2000-х. Azzouz S. Réconciliation nationale. L'Etat désarme les groupes de légitime défense // Algeria Watch. 12.05.2004. Available at: http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/amnistie/milices_desarmees.htm (accessed: 20.05.2019).

¹⁵ Loi No. 99-08 du 13 juillet 1999. Loi sur la concorde civile // République Algérienne Démocratique et Populaire. Présidence de la République. Available at: http://www.el-mouradia.dz/francais/algerie/histoire/Dossier/loi_sur_la_concorde_civile.htm (accessed: 25.04.2019).

¹⁶ Первой мирной инициативной была «Римская платформа» (1995), созданная рядом оппозиционных партий, в том числе ИФС, а также видными представителями гражданского общества и правозащитных групп. Она содержала ряд рекомендаций правительству для прекращения конфликта, которые включали признание ИФС в качестве законной политической партии и призывы военных отойти от политической жизни страны. Инициированная католической общиной Сент-Эджидо, она также получила название «платформа Сент-Эджидио». Алжирское правительство ее отвергло, но стало создавать другие альтернативы, в том числе закон Л. Зеруаля. См. подробнее: [MacQueen, 2009: 98–99].

¹⁷ Interview Bouteflika // Ina.Fr. 27.06.1999. Available at: <http://www.ina.fr/video/CAC99027039> (accessed: 19.05.2019).

¹⁸ Радикальная исламская оппозиция состояла из нескольких группировок: Вооруженное исламское движение (ВИД), находившееся под влиянием ИФС и с июня 1994 г. называвшееся Исламской армией спасения (ИАС); Вооруженная исламская группа (ВИГ), возникшая в 1993 г.; Салафитская группа проповеди и джихада (СГПБ), образованная в 1997 г. после распада ВИГ и с 2006 г. именуемая «Аль-Каидой в исламском Магрибе» (АКИМ).

парламент принял проект «Закона о гражданском согласии»¹⁹ (La loi sur la Concorde Civile), предусматривавший использование трех возможных мер для лиц, заявивших о прекращении преступной террористической деятельности, в зависимости от обстоятельств²⁰: освобождение от судебного преследования; условное осуждение с установлением испытательного срока или же смягчение приговора.

Повстанцы имели право на амнистию, если они не убивали, не насиловали и не использовали взрывчатые вещества в общественных местах. Совершившие же подобные преступления, хотя и не были амнистированы, однако получили меньшие сроки тюремного заключения²¹, чем предусматривалось Уголовным кодексом страны.

Закон вступил в силу 13 января 2000 г. Он помог смягчить напряженность: «В 2001 г. погибли 1300 человек, в то время как столько же были убиты лишь за одну неделю летом 1997 г.», — отмечает отечественный исследователь А.И. Куприн [Куприн, 2004b: 266]. На состоявшемся в сентябре референдуме на вопрос: «Согласны ли вы с подходом президента к восстановлению мира и гражданского согласия?» подавляющее большинство алжирцев (98% при явке 85% (17 млн) избирателей [MacQueen, 2009]) поддерживали курс на прекращение кровопролития. Тем не менее закон также подвергался критике как со стороны населения, так и со стороны внешних наблюдателей [Le Sueur, 2010; MacQueen, 2009].

Семьи пропавших без вести (а всего за время войны, по разным источникам, их насчитывалось от 4000 до 10 000 человек [Moussaoui, 2001]) требовали поиска родных или раскрытия местонахождения их тел и призывали провести судебное рассле-

¹⁹ Loi No. 99-08 du 13 juillet 1999. Loi sur la concorde civile // République Algérienne Démocratique et Populaire. Présidence de la République. Available at: http://www.el-mouradia.dz/francais/algerie/histoire/Dossier/loi_sur_la_concorde_civile.htm (accessed: 25.04.2019).

²⁰ Tuquoi J-P. La loi sur la ‘concorde civile’ du président algérien plébiscitée avec 98,6% de ‘oui’ // Le Monde. 17.09.1999. Available at: http://www.lemonde.fr/international/article/1999/09/17/la-loi-sur-la-concorde-civile-du-president-algerien-plebiscitee-avec-98-6-de-oui_23013_3210.html (accessed: 25.04.2019).

²¹ В статье 41 закона 99-08 от 13 июля 1999 г. предусматривалось, что «люди, принадлежащие к организациям, которые добровольно и спонтанно решили прекратить акты насилия и которые полностью отдались в распоряжение государства <...>, имеют право на все свои гражданские права, и им предоставляется иммунитет от судебного преследования».

дование преступной деятельности военных и силовых структур во время конфликта. Однако власти не шли им навстречу [Hasan et al., 2012].

По заявлению правительства, соглашение «ускорило нормализацию ситуации с безопасностью» до такой степени, что повстанцы «уже не представляли серьезной угрозы для институтов и населения страны» [MacQueen, 2009: 111], однако чрезвычайное положение, введенное в 1992 г., оставалось в силе. Это дало правительству свободу в том, что касалось не только подавления вооруженной оппозиции в стране, но и ограничения внутреннего инакомыслия со стороны журналистов, неправительственных организаций и ученых.

Президент, заявив в одной из своих речей²² того времени, что исламисты, отказавшиеся принять условия правительства, теперь не имеют обычных гражданских прав, фактически позволил военным использовать любую тактику, которую они сочтут уместной, для уничтожения всех оставшихся воинствующих группировок. В результате в 2000 г. число людей, погибших в терактах и в ходе антитеррористических операций, увеличилось до 5000 человек, что примерно в два раза больше, чем годом ранее [Le Sueur, 2010]. Надо сказать, что практика разделения исламистов на «плохих» (террористов) и «хороших» (умеренных) потом неоднократно применялась на всем Ближнем Востоке, ярким примером чего стала Сирия.

Усилив наступление на боевиков в начале 2000-х годов, руководство Алжира смогло установить безопасность на той территории страны, где проживала большая часть населения. Террористы в основном скрывались в обширных и слабозаселенных районах пустыни Сахары. После этого стали возможны дальнейшие политические реформы и социально-экономическое восстановление.

Впрочем, значимость политических шагов, предпринятых властью на этом этапе, состояла не только в решении острых тактических проблем. Как ни характеризуй события «черного десятилетия», несомненно, именно они сформировали характер политической системы Алжира в последующие годы, способство-

²² Bouteflika's speech to the nation // BBC Monitoring. 27.04.1999. Available at: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/330016.stm> (accessed: 20.05.2019).

вали консолидации политической элиты и определили основную модель ее поведения в ситуации растущих вызовов и угроз.

II этап (вторая половина 2000-х годов — 2011 г.). Начало второго этапа политики гражданского согласия положила принятая в 2005 г. Хартия за мир и национальное примирение (*La Charte pour la paix et la réconciliation nationale*)²³. И хотя она также подверглась критике [Bustos, 2007], согласно правительственным данным, она была поддержана 97% избирателей на всенародном референдуме, где явка составила 82% [Kaye et al., 2008]. Основной идеей документа было освобождение всех лиц, будь то исламисты, гражданские ополченцы или сотрудники сил безопасности, от уголовного преследования за преступления, совершенные во время войны. Таким образом, хартия пресекала попытки дискредитировать военных. Она также освободила силы безопасности и вооруженные отряды ополчения от ответственности за нарушения прав человека во время войны, мотивировав это тем, что они действовали в интересах страны [Hasan et al., 2012].

«Никакое судебное разбирательство не может быть возбуждено против отдельного или коллективного субъекта, являющегося служащим сил обороны и безопасности Республики, за действия, проводимые с целью защиты лиц и имущества, защиты нации или сохранения институтов Алжирской Народной Демократической Республики»²⁴, гласил документ.

Более того, хартия позволяла подвергать тюремному заключению любого, кто открыто критикует действия сил безопасности в годы конфликта: «Налагается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и штрафа в размере от 250 000 до 500 000 алжирских динаров на любого, кто своими заявлениями, письмами или любым другим актом использует травмы национальной трагедии для того, чтобы нанести ущерб институтам Алжирской Народной Демократической Республики, ослабить государство, подорвать репутацию его офицеров или запятнать имидж Алжира на международном уровне»²⁵.

Хартия за мир и национальное примирение в основном подтвердила базовые принципы закона о гражданском согласии. В соответствии с этим документом прекращалось судебное

²³ Art. 45. Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale // Journal Officiel de la République Algérienne. 2006. No. 11. Available at: https://www.usip.org/sites/default/files/file/resources/collections/commissions/Algeria-Charter_ordinance06-02.pdf (accessed: 05.05.2019).

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibid. Art. 46.

разбирательство против исламистских повстанцев, в том числе проживавших за границей и осужденных заочно. Все те, кто стремился к помилованию, должны были предстать перед силами безопасности или обратиться в посольство Алжира, если они находились за границей, в течение шести месяцев — к августу 2006 г. и признаться в своих правонарушениях, с тем чтобы вернуть свои гражданские свободы.

Однако согласно статье 26 хартии политическая деятельность была запрещена любому, кто участвовал в совершении террористических актов или в манипуляциях религией в преступных целях²⁶. Таким образом, ссылаясь на эту статью, правительство могло на законных основаниях отказывать в регистрации любых новых политических партий бывшим членам ИФС.

К январю 2007 г. Министерство юстиции Алжира выпустило почти 3000 бывших террористов, которые попали под амнистию. При том что основная часть боевиков воспользовались призывом правительства к примирению, некоторые вернулись в ряды вооруженных групп или подались в преступные синдикаты. По данным алжирского правительства, к 2007 г. из 6000 бывших комбатантов, которые воспользовались описанными инициативами примирения, всего 20 человек снова взяли за оружие. Определить достоверность этих цифр сегодня практически невозможно: вероятнее всего, истинное число людей, убитых за время войны, равно как и тех, кто воспользовался амнистией, так и останется неизвестным в ближайшие годы, поскольку эти данные считаются государственной тайной.

С 2006 г. новые законы, продлевающие использование амнистии, не издавались. Однако согласно некоторым источникам [Hasan et al., 2012] члены вооруженных группировок по-прежнему сдаются властям и получают амнистию.

Несмотря на определенные недостатки и морально-этическую уязвимость, инициативы А. Бутефлики по примирению после гражданской войны внесли значительный вклад в возвращение мира и стабильности в страну. Некоторые исламисты были включены в политический процесс. Несколько групп, таких как «Движение общества за мир», присоединились к коалиционным правительствам и получили места в парламенте и министерские портфели. А. Бутефлика даже назначил симпатизировавшего исламистам Абдельазиза Бельхадема министром иностранных дел в 2000 г. и главой правительства в 2006 г. Эти шаги позво-

²⁶ Ibid. Art. 26.

лили режиму укрепить свою легитимность благодаря готовности разрешить исламистам участвовать в легальном политическом процессе.

Если рассматривать первые инициативы А. Бутефлики по мирному урегулированию в контексте концепций миростроительства и постконфликтного восстановления, то обращают на себя внимание несколько моментов.

Конечно, ситуация в Алжире отличалась немалой спецификой: до сих пор еще не стихают споры о том, надо ли рассматривать «черное десятилетие» как вооруженный внутриполитический конфликт (гражданскую войну) [MacQueen, 2009; Kaue et al., 2008] или же как широкомасштабную террористическую деятельность, развернутую после военного переворота [Le Sueur, 2010]. Отсутствие каких бы то ни было цифр, которые позволяли бы судить о динамике реальной поддержки сторон конфликта населением, оставляет широкие возможности для интерпретаций. Тем не менее предложенный президентом Закон о гражданском согласии свидетельствует о готовности правительства признать факт *гражданского* противостояния: пусть власть и стала говорить с исламистами с позиции силы, она все же стала с ними именно *говорить*, тем самым косвенно признавая их как сторону конфликта.

Диалог был начат после фактического исчерпания военных методов сильной стороной, согласившейся на некоторые уступки ради достижения компромисса. В этом отношении алжирский кейс несколько расходится с теоретическими построениями Т.Э. Флореса и И. Нуруддина, поскольку демократические методы урегулирования сочетались здесь с серьезной военной составляющей. Очевидно, что без последней — без готовности политического режима к радикальным действиям — урегулирование конфликта было бы невозможно. Однако, невозможно оно было и при полном отсутствии демократических инструментов: радикальная оппозиция оказалась бы просто задавленной, что создало бы постоянную угрозу новой дестабилизации. Этим объясняются и обращение к референдуму, и заимствование элементов исламистской программы властью, и интеграция части оппозиции в политическую элиту страны.

Наконец, важным кажется и избранный порядок действий алжирского руководства. Строго говоря, властям не было нужды проводить формальную демократизацию политической системы — это было сделано еще до конфликта. Однако необходимо было создать позитивные стимулы для мирного урегулирования

у противной стороны, инструментом чего и стали до той поры практически парализованные демократические институты: политические партии, объединения и электоральные процедуры.

Вместе с тем дальнейшее манипулирование последними²⁷ демонстрировало, что проводимая демократизация носила ограниченный характер. Президент сохранял полный контроль не только над исполнительной властью, но и в значительной степени над судебной и законодательной. Благодаря формированию трети Совета нации (верхней палаты) путем прямых президентских назначений и широким возможностям по роспуску Национальной народной ассамблеи глава республики сохранял значительные ресурсы для оказания влияния на парламент [Мохов, 2007]. Процесс распределения реальной власти реализовывался соперничавшими между собой группами элиты, в той или иной степени связанными с армией и силовыми структурами. Для собственного благополучия им необходимо было поддерживать существовавшую систему, которая обеспечивала «распределение привилегий и всевозможных рент (помимо нефтегазовой ренты, распределения лицензий на импорт, прав на создание предприятий в доходных секторах экономики и т.д.) между узким кругом представителей своих альянсов и их клиентов» [Мохов, 2007: 134].

В то же время охарактеризовать алжирскую политическую систему 2000-х годов как классическую авторитарную или даже как систему электорального авторитаризма²⁸ вряд ли возможно.

При всей важности президентской власти парламент в 2000-е годы превратился в относительно влиятельный орган, по меньшей мере более влиятельный, чем в любой другой арабской республике (за исключением Ливана и Ирака) того же периода. Отсутствие единой партии власти и высокая степень инклюзивности партийной системы, в которой оказались представлены все пользовавшиеся популярностью идеологические течения, позволяли парламентским выборам отражать реальные предпочтения населения. Постепенный рост популярности Фронта

²⁷ В 2008 г., перед окончанием второго срока А. Бутефлики, было снято конституционное ограничение президентского правления двумя мандатами. В 2011 г., во время его четвертого мандата, в ответ на массовые протесты это ограничение вновь было внесено в Основной закон. Каждая электоральная кампания в стране при этом сопровождалась громкими заявлениями оппозиции об имевших место фальсификациях результатов голосования и данных явки.

²⁸ «Режимы электорального авторитаризма играют в многопартийные выборы, при этом попирая либерально-демократические принципы свободы и справедливости, превращая выборы в инструменты авторитарного режима» (цит. по: [Cassani, 2012: 10]).

национального освобождения (ФНО)²⁹, уменьшение симпатии населения к исламистам, сложное положение «берберских» партий, то бойкотировавших выборы, то оказывавшихся аутсайдерами, и относительная маргинальность всех остальных политических сил говорят о динамике общественных настроений.

При этом участие А. Бутефлики в выборах 2009 г. и укрепление ФНО свидетельствовали о набиравших силу авторитарных трендах в рамках все той же гибридной политической системы. Как и реформы начала 2000-х годов, в значительной степени рост этих тенденций был косвенным эффектом постконфликтного развития. Преодоление насилия и очевидные успехи в процессе примирения создали серьезный кредит доверия А. Бутефлике, силовое подавление конфликта укрепило позиции военных и усилило их корпоративную идентичность, а травматичный опыт сделал невозможным на какое-то время гражданское сопротивление авторитаризму.

III эман (2011–2019). И все же со временем кредит доверия президенту растрачивался. Первой попыткой оспорить легитимность системы стали протестные выступления конца 2010 г. — начала 2011 г., охватившие 20 из 48 вилай Алжира. И хотя в основном они были вызваны социально-экономическими причинами (такими как нехватка жилья, повышение стоимости жизни и цен на продукты питания), помимо социально-экономических лозунгов звучали тогда и требования политических реформ.

Так, в январе 2011 г. было создано движение «Национальная координация перемен и демократии» (НКПД; La Coordination nationale pour le changement et la démocratie, CNCD), объединившее различные оппозиционные группы, в том числе Алжирскую лигу защиты прав человека, студенческие и молодежные организации, ассоциации безработных, юристов, учителей, гражданских коллективов и политических партий³⁰. Движение призывало всех алжирцев — молодежь, студентов, женщин, безработных,

²⁹ Les résultats des élections parlementaire Algerie. Algerie Chambre parlementaire: Al-Majlis Ech-Chaabi Al-Watani. Elections tenues en 1997 // Union interparlementaire. Available at: http://archive.ipu.org/parline-f/reports/arc/1003_97.htm (accessed: 25.04.2019); Proclamation No. 01/P.CC/12 du 15 mai 2012 portant résultats de l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2012. No. 32. P. 4–22. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012032.pdf> (accessed: 13.05.2019).

³⁰ Baamara L. (Més)aventures d'une coalition contestataire: le cas de la Coordination nationale pour le changement et la démocratie (CNCD) en Algérie // L'Année du Maghreb. 2012. VIII. Available at: <http://journals.openedition.org/anneemaghreb/1444> (accessed: 01.04.2019).

пенсионеров, рабочих, руководителей — участвовать в мирном марше с требованиями «ухода системы» и «смены режима». Оно требовало проведения демократических реформ, отмены чрезвычайного положения, введенного в 1992 г., создания более открытой политической системы и предоставления свободы деятельности средствам массовой информации. Из оппозиционных партий к этой инициативе присоединилось только «Объединение за культуру и демократию», ориентировавшееся на берберский электорат, тогда как представленные в парламенте левые и исламистские партии ее проигнорировали [Долгов, 2015]. НКПД организовало 12 февраля манифестацию, в которой приняли участие около 3000 человек, однако столкнулось с мощным противодействием сил полиции (в центре столицы было размещено около 30 000 полицейских), разогнавших протестующих³¹. Все последующие попытки также не были особо удачными и к 23 июня были свернуты.

В целом эти события продемонстрировали нескоординированность социально-экономических и политических требований оппозиции, что не позволило сформировать единое массовое движение, выступавшее за реформирование общества. Вместе с тем в стране действительно сохранялся активно инструментализировавшийся властью страх перед радикальными изменениями, способными привести к повторению событий «черного десятилетия» [Желтов В.В., Желтов М.В., 2015].

Впрочем, эти страхи и в самом деле испытывало не только гражданское общество, но и само алжирское руководство, которое гибко и вовремя отреагировало на протесты, пообещав провести демократические и экономические реформы: 3 февраля 2011 г. был отменен чрезвычайный режим, длившийся 19 лет [Volpi, 2013], а президент в речи от 15 апреля³² пообещал провести и коренные конституционные реформы. В результате в январе 2012 г. были приняты законы об электоральном процессе³³,

³¹ Coordination nationale pour le changement et la démocratie, Une autre marche aujourd'hui à Alger // Algérie 360. 18.02.2011. Available at: <https://www.algerie360.com/coordination-nationale-pour-le-changement-et-la-democratieune-autre-marche-aujourd'hui-a-alger/> (accessed: 01.04.2019).

³² Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, prononce un discours à la nation. 15.04.2011 // YouTube. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=l5T4_K6lWbk (accessed: 20.05.2019).

³³ Loi organique No. 12-01 du 12 janvier 2012 relative au régime électoral // Journal Officiel de la République Algérienne. 2012. No. 1. P. 8–31. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012001.pdf> (accessed: 06.05.2019).

о политических партиях³⁴, об ассоциациях³⁵, о политическом представительстве женщин³⁶ и о распространении информации³⁷. Если они и не означали столь фундаментальных перемен, что обещались, то все же создавали новый, более демократический дизайн политической системы. Еще через четыре года — в марте 2016 г. — были приняты поправки в действовавшую в стране с 1996 г. Конституцию³⁸.

В целом события «арабской весны» в Алжире обладали своей спецификой. Страна оказалась единственной из арабских республик, столкнувшихся в 2010–2011 гг. с серьезными протестами, которая сумела избежать драматического революционного сценария. Проведенные реформы были направлены на повышение гибкости системы, отчасти расширяли ее инклюзивность и продемонстрировали ее адаптивность.

Свидетельством успешности выбранной стратегии может служить относительное спокойствие, в котором прошли следующие несколько лет жизни страны. Правда, американский исследователь Р. Паркс³⁹ отмечает довольно большое число локальных протестов в это время. Правда и то, что анализ президентских (2014) и парламентских выборов (2017) показывает нарастающее недовольство населения политическими элитами [Сапронова, 2015]. Высокий уровень абсентеизма (в некоторых районах явка и на президентских, и на парламентских выборах едва преодоле-

³⁴ Loi organique No. 12-04 du 12 janvier 2012 relative aux partis politiques // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2012. No. 2. P. 9–15. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012002.pdf> (accessed: 06.05.2019).

³⁵ Loi No. 12-06 du 12 janvier 2012 relative aux associations // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2012. No. 2. P. 28–34. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012002.pdf> (accessed: 13.05.2019).

³⁶ Loi organique No. 12-03 du 12 janvier 2012 fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblée // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2012. No. 1. P. 39. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012001.pdf> (accessed: 06.05.2019).

³⁷ Loi organique No. 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2012. No. 2. P. 18–27. Available at: <http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2012/F2012002.pdf> (accessed: 13.05.2018).

³⁸ Loi No. 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle // Journal Officiel de la Republique Algerienne. 2016. No. 14. Available at: <http://www.droit-afrique.com/uploads/Algerie-Constitution-revisee-Loi-6-mars-2016.pdf> (accessed: 25.04.2019).

³⁹ Parks R.P. Algerians head to the polls Thursday. Here's what to watch // The Washington Post. 03.05.2017. Available at: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/05/03/algerians-head-to-the-polls-thursday-heres-what-to-watch/?utm_term=.2dd5790de605 (accessed: 22.05.2019).

вала 20%) дополнялся большим числом испорченных бюллетеней (до 25%), а испытывавший после 2013 г. постоянные трудности со здоровьем президент практически перестал появляться на публике. Несмотря на это, политическим элитам удавалось на протяжении всего этого периода избегать массовых акций недовольства, не используя широкомасштабных репрессий.

В целом можно констатировать, что опыт постконфликтного восстановления, формально завершившегося в середине 2000-х годов, в рассматриваемый период продолжал проявляться в политической жизни страны по меньшей мере в четырех аспектах.

Во-первых, память о событиях «черного десятилетия» влияла как на руководство АНДР, воздержавшееся от репрессивного ответа на выступления, так и на самих протестующих, последовательно придерживавшихся ненасильственных стратегий.

Во-вторых, эта память сделала неприемлемым для общества протестный исламистский дискурс. Любое его использование (впрочем, на первых этапах «арабской весны» ограниченное и в других странах) с легкостью могло интерпретироваться властью как попытка реванша тайных сторонников ИФС и подобных ему групп, что дало бы *carte blanche* для силовых действий.

В-третьих, в начале 2010-х годов политические элиты стремились прибегнуть к тем же, в сущности, инструментам выхода из кризиса, что оказались эффективными десятилетием раньше. Продемонстрировав сначала готовность к силовому подавлению протеста, они тут же выказали желание вести диалог и использовать демократические способы его канализации.

Наконец, в-четвертых, ощутив пределы гибкости политического режима, элиты никак не могли решиться на его масштабное реформирование, стараясь как можно дольше замораживать политический процесс в стране.

И хотя спустя еще восемь лет ситуация существенно изменилась, модели поведения как протестующих, так и элиты, палитра инструментов, применяемых обеими сторонами, и сам сценарий их взаимодействия во многом оказались прежними.

IV этап (с 2019 г.). 2019 год обозначил начало принципиально нового периода в истории страны. Весной этого года в Алжире должны были состояться очередные президентские выборы, однако до последнего момента процедура их проведения и список участников оставались совершенно неясными. Главная интрига касалась, конечно, перспективы выдвижения на очередной срок

А. Бутефлики, состояние здоровья которого не позволяло ему заниматься публичной политикой на протяжении нескольких последних лет. В то же время никаких очевидных альтернатив ему политическими элитами предложено не было.

Наконец, 10 февраля находившийся в швейцарской клинике президент объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру еще раз. Спустя всего несколько дней в Алжире вспыхнули массовые протесты. Проходя практически во всех больших городах страны каждую пятницу, они собирали поначалу десятки, потом сотни тысяч, а затем уже миллионы манифестантов, требовавших отказа А. Бутефлики от выдвижения на пятый срок (в связи с изменением Конституции в 2016 г. правовых препятствий к этому не было).

Появлявшаяся в интернете и СМИ в это время информация свидетельствовала, что тайно или явно протестующих поддерживали и многие представители государственной власти, в особенности локального и регионального уровней.

Правительство же, ранее довольно быстро реагирувавшее на общественное недовольство, явно пребывало в некоторой растерянности. Президент предпочитал общаться с обществом посредством писем, которые зачитывали по центральному телевидению.

Первое из них⁴⁰ было оглашено 3 марта — в последний день подачи кандидатами документов для участия в выборах. В своем обращении А. Бутефлика пообещал в случае победы сразу после оглашения результатов голосования собрать инклюзивную независимую национальную конференцию по подготовке политических, экономических, социальных и институциональных реформ; разработать и принять на референдуме новую конституцию, которая ознаменует рождение Второй Алжирской Республики; начать вести новую публичную политику для обеспечения более справедливого и равного распределения доходов от национальных богатств, что исключало бы любую социальную маргинализацию и нелегальную эмиграцию; мобилизовать все социальные силы на борьбу с коррупцией; принять конкретные меры, чтобы сделать молодежь основным бенефициаром в общественной деятельности и во всех сферах социально-экономиче-

⁴⁰ Lettre de Bouteflika aux Algériens: le texte integral // TSA. 03.03.2019. Available at: <https://www.tsa-algerie.com/document-lettre-de-bouteflika-aux-algeriens-le-texte-integral/> (accessed: 24.06.2019).

ской жизни; пересмотреть закон о выборах, создать независимый избирком; провести президентские выборы без своего участия в сроки, установленные национальной конференцией. Диктор, зачитывавшая это послание, на следующий день уволилась с телевидения.

Поскольку эти обещания не смогли остановить демонстрантов, 7 марта, накануне Международного дня женщин, было озвучено второе письмо⁴¹. Помимо обычных поздравлений, краткого экскурса в историю женского участия в национально-освободительной борьбе и вообще в построении и защите алжирской государственности президент отметил, что ключевая задача сегодня — добиться гендерного равенства на рынке труда. Кроме того, он указал на множество угроз как внешнего, так и внутреннего происхождения. Приветствуя мирные протесты, он обратил внимание, не называя никого конкретно, на множество завистников, желающих толкнуть страну в бездну кровавого хаоса, и призвал алжирских женщин уберечь от этого сынов отечества.

Наконец, в озвученном менее чем через неделю третьем послании⁴² вернувшийся к тому моменту на родину А. Бутефлика пообещал не только не участвовать в президентской гонке, но и вовсе отложить голосование, провести вместо него национальную конференцию для разработки новой конституции, на основании которой и пройдут затем выборы главы государства. В сущности, это означало продление действовавшего мандата еще как минимум на полтора-два года и, конечно, не могло быть одобрено улицей.

Предпринятые в это же время попытки пресечь протесты с помощью кадровых перестановок (отставка премьер-министра Ахмеда Уяхьи и серьезное обновление состава правительства 11 марта) успеха не возымели.

Помимо президента к протестующим обращались и другие политические деятели. В то время как одни из них так или

⁴¹ Message de Bouteflika: le texte integral // TSA. 07.03.2019. Available at: <https://www.tsa-algerie.com/document-message-de-bouteflika-le-texte-integral-2/> (accessed: 24.06.2019).

⁴² 'L'Algérie traverse une étape sensible de son histoire'... la lettre de Bouteflika aux Algériens // Liberation. 11.03.2019. Available at: https://www.liberation.fr/planete/2019/03/11/l-algerie-traverse-une-etape-sensible-de-son-histoire-la-lettre-de-bouteflika-aux-algeriens_1714435 (accessed: 24.06.2019).

иначе выказывали поддержку манифестантам, другие акцентировали внимание на опасности инструментализации протеста деструктивными силами. Об этом говорил с митинговавшими и заместитель министра обороны страны (министерский портфель был у президента) генерал Ахмед Гаид Салах, однако затем он стал подчеркивать общность видения будущего армией и народом, а в конечном счете и вовсе назвал окружение президента «бандой» и предложил использовать ст. 102 Конституции страны, определявшую порядок действий в случае недееспособности главы государства.

Кульминация должна была наступить к 28 апреля, когда истек срок четвертого президентского мандата. Однако уже 1 апреля администрация А. Бутефлики объявила, что он покинет пост раньше, а на следующий день он сам обратился к нации с последним посланием⁴³, в котором заявил о своей отставке и попросил прощения за ошибки последних лет.

Наступившие вслед за этим кадровые чистки в элите, запрет на выезд из страны крупнейших олигархов, привлечение к судебной ответственности целого ряда ключевых фигур эпохи А. Бутефлики, включая премьер-министра А. Уяхьи, других высших чиновников и руководителей спецслужб и крупнейших корпораций, свидетельствовали о серьезном переделе власти, главным бенефициаром которого стало, по всей видимости, военное руководство.

Протестное движение тем временем никуда не исчезло, однако его активность снизилась. Власти стали чаще прибегать к разгонам так и не сумевших обрести общий голос демонстрантов и ограничили перемещения между городами. Вместе с тем они не пытались вовсе пресечь массовые акции, проходившие каждую пятницу в крупнейших городах страны на протяжении более полугода. Подобная тактика вела к превращению этих акций в естественный элемент общественно-политической жизни, своеобразную форму досуга для целых семей⁴⁴.

Согласно алжирской Конституции политический транзит предполагал проведение президентских выборов в трехмесячный

⁴³ Message du président de la République sortant, Abdelaziz Bouteflika, au peuple algérien // Algérie Presse Service. 03.04.2019. Available at: <http://www.aps.dz/algerie/87630-message-du-president-de-la-republique-sortant-abdelaziz-bouteflika-au-peuple-algerien> (accessed: 03.08.2019).

⁴⁴ Полевые исследования. Июль 2019 г.

срок, и поначалу они действительно были назначены на 4 июля, однако сама возможность их организации в это время вызывала большие сомнения. В итоге выборы и в самом деле отменили под предлогом несоответствия представленных кандидатами документов установленным правилам⁴⁵. Только в середине сентября правительство наконец объявило об их проведении в декабре 2019 г.

Если рассматривать произошедшие события через призму памяти о гражданском конфликте, то обращают на себя внимание несколько моментов.

С одной стороны, вполне очевидно, что доминировавший долгое время в обществе страх перед массовыми протестными действиями, равно как и уходящая корнями в начало 2000-х годов консолидированность властей, канули в прошлое. Миллионы людей не побоялись выйти на улицы, а политическая элита моментально оказалась расколотой.

С другой стороны, некоторые очень важные политические практики, сформированные именно в процессе урегулирования конфликта и постконфликтного развития, показали свою живучесть.

Прежде всего, страх перед повторением масштабного насилия по-прежнему предопределял поведение как властей, так и протестующих. С ним же, по всей видимости, было связано и категорическое неприятие любого внешнего вмешательства в политический процесс. Если упоминание враждебных внешних сил в выступлениях представителей руководства страны было делом вполне обычным и не раз встречавшимся в других государствах региона, то плакаты с лозунгами, отвергавшими участие иностранных акторов, в руках манифестантов ранее в регионе, кажется, нигде не наблюдались.

Неприятие насилия определяло и другой элемент транзитурного процесса — его подчеркнуто конституционный характер. И расколотые уже элиты, и улица боялись выйти за пределы Конституции, и все решения, принимавшиеся в это время в стране, по крайней мере формально оставались в пределах легального поля. Отказ от предложенной А. Бутефликой национальной конференции, стремление организовать выборы в трехмесячный

⁴⁵ Communiqué du Conseil constitutionnel du 2 juin 2019 // Conseil constitutionnel. Available at: <http://www.conseil-constitutionnel.dz/index.php/fr/> (accessed: 25.06.2019).

срок после его отставки и даже последующая их отмена под явно искусственным предлогом несоответствия представленных кандидатами документов предъявляемым требованиям демонстрируют эту тенденцию вполне очевидно.

Наконец, третьей особенностью можно считать отсутствие, как и ранее, исламистской составляющей в протестном движении и его в целом национально ориентированный и не партикулятивный характер. Показателен в этом отношении выход на политическую авансцену армии, позиционировавшей себя, в отличие от 1990-х годов, не как защитницу секулярных ценностей и соответственно интересов светской части общества, а именно как общенациональную силу, стоящую на страже интересов всех алжирцев и разделяющую с ними общее видение будущего страны.

* * *

Подводя итоги сказанному, можно сделать некоторые выводы. Если рассматривать всю современную историю Алжира через призму памяти о гражданском противостоянии 1990-х годов, то можно заметить, что эта память не просто сохраняет свое влияние на политический процесс в стране на протяжении всего этого времени, но и оказывается важным фактором формирования специфической алжирской политической культуры. Несмотря на то что непосредственные задачи постконфликтной политической реконструкции были решены еще в первой половине 2000-х годов, сложившиеся в то время политические практики продолжают раз за разом воспроизводиться в стране, предопределяя стратегии политического поведения всех игроков — как институционализированных, так и нет.

Страх перед повторением насилия, стремление остаться в конституционном поле, готовность власти идти на переговоры с протестующими, внося коррективы в организацию политической системы, сохранение при этом высокой степени консолидации военных, воспринимаемых обществом как гарантов политического процесса, неприятие партикуляристских, прежде всего исламистских, идеологий — все это черты, сформированные в результате кровавых событий 1990-х годов и последовавшего за ними постконфликтного восстановления страны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев В.И. «Взаимно гарантированная обструкция»? Россия, страны Запада и политические дилеммы восстановления Сирии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2018. Т. 18. № 4. С. 755–774. DOI: 10.22363/2313-0660-2018-18-4-755-774.
2. Ближний Восток в меняющемся глобальном контексте / Отв. ред. В.Г. Барановский, В.В. Наумкин. М.: ИВ РАН, 2018.
3. Виравов А.Г. Алжир: кризис власти. М.: ИИИиБВ, 2001.
4. Виравов А.Г. Итоги и перспективы либерализации общественно-политической системы в Алжире // Арабские страны Западной Азии и Северной Африки (новейшая история, экономика и политика). Вып. 3. М.: ИИИиБВ; ИВ РАН, 1998. С. 111–115.
5. Виравов А.Г. К вопросу о смене общественно-политической системы Алжира // Арабский мир в конце XX века: Материалы I конференции арабистов ИВ РАН. М.: ИИИиБВ; ИВ РАН, 1996. С. 38–46.
6. Долгов Б.В. Алжир // Ближний Восток, «Арабское пробуждение» и Россия: что дальше? Сборник статей / Отв. ред. В.В. Наумкин, В.В. Попов, В.А. Кузнецов. М.: ИВ РАН, 2012. С. 189–203.
7. Долгов Б.В. Алжир в XXI веке: между демократией и радикальным исламом // Вестник РГГУ. Серия: Востоковедение, африканистика. 2009. № 13/09. С. 137–151.
8. Долгов Б.В. Алжирский опыт в конфликтах «арабской весны» // Конфликты и войны XXI века (Ближний Восток и Северная Африка). М.: ИВ РАН, 2015. С. 448–473.
9. Долгов Б.В. Исламистский вызов и алжирское общество (1970–2004 гг.). М.: ИИИиБВ, 2004.
10. Желтов В.В., Желтов М.В. Алжир: реформирование как проявление арабской весны // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-2 (62). С. 33–38.
11. Исаев Л.М. Рецепты «алжирской весны» // Неприкосновенный запас: дискуссии о политике и культуре. 2013. № 1(87). С. 204–213.
12. Куприн А.И. Алжир: исламистское движение против республиканских режимов // Россия и мусульманский мир. 2004. № 12. С. 108–118.
13. Куприн А.И. Власть и исламистская оппозиция в Алжире // Ближний Восток и современность. Вып. 22. М.: ИИИиБВ, 2004. С. 250–274.
14. Ланда Р.Г. Исламский терроризм в Алжире // Исламизм и экстремизм на Ближнем Востоке. М.: ИИИиБВ; Академия геополитики и безопасности, 2001. С. 146–157.
15. Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М.: ИВ РАН, 1999.
16. Ланда Р.Г. «Политическая весна» и гражданская война в Алжире // Страны Ближнего Востока (актуальные проблемы современности и истории). М.: ИИИиБВ; ИВ РАН, 1998. С. 85–102.
17. Миронова Е.И. Алжир: Смена приоритетов развития. М.: ИИИиБВ, 2004.
18. Мохов Н.В. Алжирское государство-нация: от хрупкого «монолита» к конфликтному многообразию // Культурная сложность современных наций / Отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 241–273.

19. Мохов Н.В. Политическая система Алжира: причины стабильности // Россия и мусульманский мир. 2007. № 2. С. 126–139.
20. Сапронова М.А. Политика и конституционный процесс в Алжире (1989–1999). М.: ИИИиБВ; ИВ РАН, 1999.
21. Сапронова М.А. Электоральный процесс после «арабской весны» (модификация государственных институтов в арабских странах на примере Алжира, Египта, Ливии, Марокко, Сирии, Туниса). М.: Институт Ближнего Востока, 2015. С. 121–139.
22. Bigombe B., Collier P., Sambanis N. Policies for building post-conflict peace. Washington, D.C.: World Bank, 2000.
23. Bustos R. Le référendum sur la charte pour la réconciliation nationale en Algérie et ses textes d'application // L'Année du Maghreb. 2007. No. II. P. 223–229. Available at: <http://journals.openedition.org/anneemaghreb/109> (accessed: 19.05.2018).
24. Cassani A. Hybrid what? The contemporary debate on hybrid regimes and the identity question // Società italiana di scienza politica. 2012. Available at: <https://www.sisp.it/files/papers/2012/andrea-cassani-1445.pdf> (accessed: 02.05.2019).
25. Flores T.E., Nooruddin I. Democracy under the gun: Understanding post-conflict economic recovery // Journal of Conflict Resolution. 2009. Vol. 53. No. 1. P. 3–29. DOI: 10.1177/0022002708326745.
26. Galtung J. Peace by peaceful means: Peace, conflict, development, and civilization. London: Sage, 1996.
27. Galtung J. Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding // Peace, war, and defense, essay in peace research. Copenhagen, 1976. P. 284–304.
28. Hagelstein R. Explaining the violence pattern of the Algerian Civil War. Households in Conflict Network. Institute for Development Studies. 1998. Working Paper 43. Available at: <http://www.hicn.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/wp43.pdf> (accessed: 13.05.2018).
29. Hasan N., Hendriks B., Janssen F., Meijer R. Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia. Hague: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael', 2012.
30. Kaye D.D., Wehrey F., Grant A.K., Stahl D. More freedom, less terror? Liberalization and political violence in the Arab world. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2008.
31. Le Sueur J.D. Algeria since 1989: Between terror and democracy. London: Zed Books, 2010.
32. MacQueen B. Political culture and conflict resolution in the Arab Middle East: Lebanon and Algeria. Melbourne: Melbourne University Press, 2009.
33. Moussaoui A. La concorde civile en Algérie. Entre mémoire et histoire // Où va l'Algérie? / Ed. by A. Mahioua, J.-R. Henry. Aix-en-Provence: Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, 2001. P. 71–92. Available at: <http://books.openedition.org/iremam/399?lang=fr> (accessed: 20.05.2019).
34. Selby J., Tadros M. Introduction: Eight myths of conflict and development in the Middle East // IDS Bulletin. Ruptures and Ripple Effects in the Middle East and Beyond. 2016. Vol. 47. No. 3. P. 1–19.
35. Volpi F. Algeria versus the Arab Spring // Journal of Democracy. 2013. Vol. 24. No. 3. P. 104–115. DOI: 10.1353/jod.2013.0040.

A.I. Vasilenko

**THE LONG ECHO OF CONFLICT:
THE MEMORY OF 1990s BLACK DECADE
IN THE MODERN POLITICAL CULTURE OF ALGERIA**

*Institute of Oriental Studies
12 Rozhdestvenka Str, Moscow, 107031*

The contemporary political history of Algeria continues to draw attention of both Russian and foreign IR scholars. However, as a rule, they have focused primarily on internal political trends in Algeria in recent years or on the process of post-conflict reconstruction started in the country at the turn of the century. In contrast, the author stresses that in order to provide the correct understanding of dynamics of political processes in Algeria all these issues should not be viewed in isolation from each other. This paper examines the role of traumatic post-conflict experience in shaping modern Algerian political culture.

The author outlines four periods in the contemporary history of Algeria, each of them corresponding to different stages in post-conflict reconstruction of the country. In the first section the author examines initial steps taken by the Algerian government at the end of 1990s and in the mid-2000s in order to stop violence and re-establish the normal functioning of the authorities. The author emphasizes that the Algerian government combined measures directed at establishing a dialogue with the opposition and massive use of military force against radical Islamists. During the second stage of post-conflict reconstruction (the second half of the 2000s), the government had tried to consolidate the society while the third stage, which coincided with the Arab Awakening, was marked by governmental efforts to prevent a possible revolutionary outburst and new destabilization of political system. Finally, mass protests in Algeria in 2019 marked the beginning of the fourth stage of the process during which the national elites have made every effort to guarantee the maintenance of the constitutional order even in case of a rapid change of political regime. The author points out that a living memory of the civil conflict has played an important part in consolidating the Algerian society. On the one hand, this memory helped to keep protests on a peaceful, non-violent track. On the other hand, it pushed the elites towards a more flexible policy and search for a compromise with the opposition. One can notice that despite constant evolution of political situation in the country the legacy of the conflict has always had a considerable and continuous impact on the political process. This issue, even if it is not directly put on the agenda, is still guiding behavioral strategies of both the civil society and the elites.

Keywords: Algeria, post-conflict reconstruction, peacebuilding, historical memory, North Africa, the Arab Awakening.

About the author: *Anastasia I. Vasilenko* — Research Assistant at the Center for Arab and Islamic studies, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences (e-mail: avasilenkan@gmail.com).

REFERENCES

1. Bartenev V.I. 2018. 'Vzaimno garantirovannaya obstruktsiya'? Rossiya, strany Zapada i politicheskie dilemmy vosstanovleniya Sirii ['Mutually assured obstruction'? Russia, the West, and political dilemmas of Syria's reconstruction]. *Vestnik RUDN. International Relation*, vol. 18, no. 4, pp. 755–774. DOI: 10.22363/2313-0660-2018-18-4-755-774. (In Russ.)
2. Baranovskii V.G., Naumkin V.V. (eds.). 2018. *Blizhnii Vostok v menyayushchemsya global'nom kontekste* [The Middle East in the changing global context]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
3. Virabov A.G. 2001. *Alzhir: krizis vlasti* [Algeria: Crisis of power]. Moscow, IIMES Publ. (In Russ.)
4. Virabov A.G. 1998. Itogi i perspektivy liberalizatsii obshchestvenno-politicheskoi sistemy v Alzhire [Results and prospects of the liberalization of the socio-political system in Algeria]. In Seyranyan B.G., Filonik A.O. (eds.). *Arabskie strany Zapadnoi Azii i Severnoi Afriki (noveishaya istoriya, ekonomika i politika)* [Arab countries of West Asia and North Africa (contemporary history, economy and politics)], vol. 3. Moscow, IIMES, IV RAN Publ., pp. 111–115. (In Russ.)
5. Virabov A.G. 1996. K voprosu o smene obshchestvenno-politicheskoi sistemy Alzhira [On the changing of the socio-political system of Algeria]. In Seyranyan B.G., Filonik A.O. (eds.). *Arabskii mir v kontse XX veka* [The Arab world at the end of the 20th century]. Moscow, IMES, IV RAN Publ., pp. 38–46. (In Russ.)
6. Dolgov B.V. 2012. Alzhir [Algeria]. In Naumkin V.V., Popov V.V., Kuznetsov V.A. (eds.). *Blizhnii Vostok, 'Arabskoe probuzhdenie' i Rossiya: chto dal'she?* [The Middle East, 'Arab awakening' and Russia: What's next?]. Moscow, IV RAN Publ., pp. 189–203. (In Russ.)
7. Dolgov B.V. 2009. Alzhir v XXI veke: mezhdru demokratiei i radikal'nym islamizmom [Algeria in the 21st century: Between democracy and radical Islamism]. *RSUH Bulletin, Oriental Studies, African Studies*, no. 13/09, pp. 137–151. (In Russ.)
8. Dolgov B.V. 2015. Alzhirskii opyt v konfliktakh Arabskoi vesny [Algerian experience in the conflicts of the Arab Spring]. In Naumkin V.V., Malysheva D.B. (eds.). *Konflikty i voyny XXI veka (Blizhnii Vostok i Severnaya Afrika)* [Conflicts and wars of the 21st century (Middle East and North Africa)]. Moscow, IV RAN Publ., pp. 448–473. (In Russ.)
9. Dolgov B.V. 2004. *Islamistskii vyzov i alzhirskoe obshchestvo (1970–2004 gg.)* [Islamist challenge and the Algerian society (1970–2004)]. Moscow, IIMES Publ. (In Russ.)
10. Zheltov V.V., Zheltov M.V. 2015. Alzhir: reformirovanie kak proyavlenie arabskoi vesny [Algeria: Reforms as a consequence of the Arab Spring]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta*, no. 2-2 (62), pp. 33–38. (In Russ.)
11. Isaev L.M. 2013. Retsepty 'alzhirskoi vesny' [Recipes of the Algerian Spring]. *Neprikosnovennyi zapas: debaty o politike i kul'ture*, no. 1 (87), pp. 204–213. (In Russ.)
12. Kuprin A.I. 2004a. Alzhir: islamistskoe dvizhenie protiv respublikanskikh rezhimov [Algeria: Islamist movement against republican regimes]. *Rossiia i musul'manskii mir*, no. 12, pp. 108–118. (In Russ.)

13. Kuprin A.I. 2004b. Vlast' i islamistskaya oppozitsiya v Alzhire [Power and Islamist opposition in Algeria]. *Blizhnii Vostok i sovremennost'* [The Middle East and modernity]. Iss. 22. Moscow, IIMES Publ., pp. 250–274. (In Russ.)
14. Landa R.G. 2001. Islamskii terrorizm v Alzhire [Islamic terrorism in Algeria]. In *Islamizm i ekstremizm na Blizhnem Vostoke* [Islamism and extremism in the Middle East]. Moscow, IIMES Publ., pp. 146–157. (In Russ.)
15. Landa R.G. 1999. *Istoriya Alzhira. XX vek* [History of Algeria. 20th century]. Moscow, IV RAN Publ. (In Russ.)
16. Landa R.G. 1998. 'Politicheskaya vesna' i grazhdanskaya voina v Alzhire ['Political Spring' and the Civil War in Algeria]. *Strany Blizhnego Vostoka (aktual'nye problemy sovremennosti i istorii)* [Countries of the Middle East (Current issues of modernity and history)]. Moscow, IIMES, IV RAN Publ., pp. 85–102. (In Russ.)
17. Mironova E.I. 2004. *Alzhir: smena prioriteto razvitiya* [Algeria: Changing development priorities]. Moscow, IIMES Publ. (In Russ.)
18. Mokhov N.V. 2016. Alzhirskoe gosudarstvo-natsiya: ot khrupkogo 'monolita' k konfliktnomu mnogoobraziyu [Algerian nation-state: From fragile 'monolith' to conflicting diversity]. In Tishkov V.A., Filippova E.I. (eds.). *Kul'turnaya slozhnost' sovremennykh natsii* [Cultural complexity of modern nations]. Moscow, Politicheskaya entsiklopediya Publ., pp. 241–273. (In Russ.)
19. Mokhov N.V. 2007. Politicheskaya sistema Alzhira: prichiny stabil'nosti [The political system of Algeria: The reasons for stability]. *Rossiia i musul'manskii mir*, no. 2, pp. 126–139. (In Russ.)
20. Saponova M.A. 1999. *Politika i konstitutsionnyi protsess v Alzhire (1989–1999)* [Politics and the constitutional process in Algeria (1989–1999)]. Moscow, IIMES, IV RAN Publ. (In Russ.)
21. Saponova M.A. 2015. *Elektoral'nyi protsess posle 'arabskoi vesny' (modifikatsiya gosudarstvennykh institutov v arabskikh stranakh na primere Alzhira, Egipta, Livii, Marokko, Sirii, Tunisa)* [Electoral process after the Arab Spring (Transformation of state institutions in the Arab countries: Cases of Algeria, Egypt, Libya, Morocco, Syria, and Tunisia)]. Moscow, Institut Blizhnego Vostoka Publ. (In Russ.)
22. Bigombe B., Collier P., Sambanis N. 2000. *Policies for building post-conflict peace*. Washington, D.C., World Bank.
23. Bustos R. 2007. Le référendum sur la charte pour la réconciliation nationale en Algérie et ses textes d'application. *L'Année du Maghreb*, no. II, pp. 223–229. Available at: <http://journals.openedition.org/anneemaghreb/109> (accessed: 19.05.2018).
24. Cassani A. 2012. *Hybrid what? The contemporary debate on hybrid regimes and the identity question*. Available at: <https://www.sisp.it/files/papers/2012/andrea-cassani-1445.pdf> (accessed: 02.05.2019).
25. Flores T.E., Nooruddin I. 2009. Democracy under the gun: Understanding post-conflict economic recovery. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 53, no. 1, pp. 3–29. DOI: 10.1177/0022002708326745.
26. Galtung J. 1996. *Peace by peaceful means: Peace, conflict, development, and civilization*. London, Sage.
27. Galtung J. 1976. Three approaches to peace: Peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. *Peace, war, and defense, essay in peace research*. Copenhagen, pp. 284–304.
28. Hagelstein R. 1998. *Explaining the violence pattern of the Algerian Civil War*. Households in Conflict Network, Institute for Development Studies. Working Paper

43. Available at: <http://www.hicn.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/wp43.pdf> (accessed: 13.05.2018).
29. Hasan N., Hendriks B., Janssen F., Meijer R. 2012. *Counter-terrorism strategies in Indonesia, Algeria and Saudi Arabia*. Hague, Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
30. Kaye D.D., Wehrey F., Grant A.K., Stahl D. 2008. *More freedom, less terror? Liberalization and political violence in the Arab world*. Santa Monica, CA, RAND Corporation.
31. Le Sueur J.D. 2010. *Algeria since 1989: Between terror and democracy*. London, Zed Books.
32. MacQueen B. 2009. *Political culture and conflict resolution in the Arab Middle East: Lebanon and Algeria*. Melbourne, Melbourne University Press.
33. Moussaoui A. 2001. La concorde civile en Algérie. Entre mémoire et histoire. In Mahioua A., Henry J.-R. (eds.). *Où va l'Algérie?* Aix-en-Provence, Institut de recherches et d'études sur les mondes arabes et musulmans, pp. 71–92. Available at: <http://books.openedition.org/iremam/399?lang=fr> (accessed: 20.05.2019).
34. Selby J., Tadros M. 2016. Introduction: Eight myths of conflict and development in the Middle East. *IDS Bulletin. Ruptures and Ripple Effects in the Middle East and Beyond*, vol. 47, no. 3, pp. 1–19.
35. Volpi F. 2013. Algeria versus the Arab Spring. *Journal of Democracy*, vol. 24, no. 3, pp. 104–115. DOI: 10.1353/jod.2013.0040.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор

КОКОШИН А.А.

Заместитель главного редактора

ЮДИН Н.В.

Ответственный секретарь

АГАНСОН О.И.

Члены редколлегии:

БАБЫНИНА Л.О.

ПРОХОРЕНКО И.Л.

БАРСЕНКОВ А.С.

РЫХТИК М.И.

БАРТЕНЕВ В.И.

СЕРГУНИН А.А.

БЕЛОКРЕНИЦКИЙ В.Я.

СИДОРОВ А.А.

ГЛАЗУНОВА Е.Н.

СТЕПАНОВА Е.А.

ЗВЯГЕЛЬСКАЯ И.Д.

ФЕНЕНКО А.В.

КУЗНЕЦОВ В.А.

ХАХАЛКИНА Е.В.

ПАНОВ А.Н.

ЯКОВЛЕВ А.И.

ПОТЕМКИНА О.Ю.

Редактор

МАЛЕВАННАЯ Е.А.

Адрес редакции:

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, 1-й учеб. корпус гуманитарных факультетов, факультет мировой политики, к. 601.

Тел. 8 (495) 939-52-71.

E-mail: vestnik.fmp@gmail.com

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) РФ. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-35059 от 23 января 2009 г.

Подписано в печать 25.10.2019. Формат 60×90^{1/16}. Бумага офс. № 1.

Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 12,5. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж экз.

Изд. № 11 291. Заказ №

Издательство Московского университета.

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр. 15 (ул. Академика Хохлова, 11)

Тел.: (495) 939-32-91. E-mail: secretary-msu-press@yandex.ru

Отдел реализации. Тел.: (495) 939-33-23; e-mail: zakaz@msupress.com

Сайт Издательства МГУ: <http://msupress.com>

ИНДЕКС 88513 (каталог «Пресса России»)

ISSN 0201-7385. ISSN 2076-7404

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 25. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. 2019. Т. 11. № 2. 1—200.